

# Годы в Белом доме. Том 2

**Автор:**

[Генри Киссинджер](#)

Годы в Белом доме. Том 2

Генри Киссинджер

Геополитика (АСТ)Годы в Белом доме #2

В этом томе мемуаров «Годы в Белом доме» Генри Киссинджер рассказывает о своей деятельности на посту советника по национальной безопасности президента США Ричарда Никсона, о прорыве в отношениях с Китаем, о новой странице в отношениях с Советским Союзом и о трудных переговорах по завершению Вьетнамской войны.

Генри Киссинджер

Годы в Белом доме. Том 2

Henry A. Kissinger

WHITE HOUSE YEARS

Печатается с разрешения автора и литературного агентства The Wylie Agency (UK), Ltd.

Фотоматериалы предоставлены фотоагентством «ООО Галло Имиджес РУС» (Getty Images).

© Henry A. Kissinger, 1979

© Перевод. В. Верченко, 2019

© Издание на русском языке AST Publishers, 2020

Часть первая

1971 год

I

Американо-советские отношения: прорыв на двух фронтах

Во время короткого промежутка затишья Андрей Андреевич Громыко прибыл в Вашингтон в октябре 1970 года, и Ричард Никсон имел первую встречу в качестве президента с советским руководителем. Кризисы Сьенфуэгоса и Иордании были позади. Переговоры по договору об ОСВ было запланировано возобновить 2 ноября, переговоры по Берлину были начаты снова, и, несмотря на советский обман на Кубе и Ближнем Востоке, ставшая почти идефикс одержимость Никсона встречей на высшем уровне в Москве не спадала. В А. А. Громыко мы встретили искусного мастера, министра иностранных дел, который формировал политику для политбюро, не имевшего значительного опыта в знании внешнего мира, и который должен был управлять международными делами сверхдержавы из бюрократических джунглей, имея в качестве единственной силовой базы в них свою собственную компетенцию. Он был из числа выживших. Он пережил сталинский период, эпоху Молотова в Министерстве иностранных дел и изменчивую, как «американские горки», хрущевскую дипломатию. Ему было всего 34 года, когда его сделали послом в Соединенных Штатах Америки в 1943 году. Он был министром иностранных дел с 1957 года, когда сменил Дмитрия Трофимовича Шепилова после короткого пребывания на посту постоянного представителя в Организации Объединенных Наций с 1946 по 1949 год. В Овальном кабинете он встречался с Франклином

Рузвельтом и каждым американским президентом после него.

Цена выживания включала пребывание в роли объекта для грубых шуток любого, кто занимал пост высшего советского руководителя. Хрущев и Брежнев в этом плане не отличались друг от друга. Хрущев однажды хвастался перед иностранным гостем, что, если Громыко прикажут сесть на брус льда со спущенными брюками, он это сделает без вопросов, пока ему не прикажут прекратить. Юмор Брежнева, хотя и не такой грубый, был в том же роде. Никто из них не ставил под сомнение, что одной из главных заслуг Громыко была буквальная преданность выполнению приказа в качестве гибкого инструмента деспотичной власти.

Лицо Громыко всегда расплывалось в улыбке, когда он становился объектом такой жестокой шутки. Только глаза оставались настороженными и слегка меланхоличными, как у гончего пса, который терпел необъяснимые прихоти своего хозяина и подчинял их своей собственной воле. Через все это Громыко пронес замкнутый вид своего рода достоинства. Он был преданным и сговорчивым, но не подобострастным. И непременно цель всегда достигалась там, где его компетенция определяла ход дискуссии. Он стал незаменимым двигателем советской внешней политики, превосходным советским дипломатом, хорошо проинформированным, уверенным в себе и неуступчивым. Он никогда не приступал к переговорам, не изучив предмет обсуждения. Вначале он мало что знал о стратегических вооружениях, но изучил их настолько хорошо, что мог, в конечном счете, проводить затяжные боевые действия даже по самым незначительным вопросам. На самом деле для Громыко не было незначительных вопросов; каждый пункт продавливался с бесстрастным упорством, разрушая все разделительные линии и позволяя ему проталкивать то, что никогда не приняли бы за что-то существенное. Он однажды заставил меня вести дискуссию целый день о том, как подсчитывать количество советских ракет, которые не имеют никакого отношения ни к одному известному типу советских ракет или программ. Это было, по сути, с технической точки зрения абсурдом, хотя с точки зрения логики абсолютно безупречно. Это был доводящий до сумасшествия теоретический аспект, фактически не имевший никакого смысла, но, если его затронуть, он должен быть исследован на предмет подводных камней. (На этот раз обошлось без них. Вопрос был снят с переговоров на следующем заседании.) В другой раз Громыко заявил, что каждый из новых запланированных стратегических бомбардировщиков Соединенных Штатов, В-1, должен учитываться как три стратегических вооружения в общем подсчете на переговорах по ОСВ. Когда его спросили, почему, он задумался, а затем заявил, что он быстрее и появится над СССР

раньше В-52. Представлять скорость в качестве стратегического критерия было совершенно новой идеей. Громыко был в замешательстве, когда ему объяснили, что В-1 был намного тихходнее, чем ракеты, которые считаются только поштучно. В итоге он отказался от такого рода аргументации, сделав великодушный жест, но все же умудрился представить это как ценную уступку, за которую ему что-то полагается.

Обычно Громыко знал все нюансы предмета; это было равноценно самоубийству – вести с ним переговоры, без записей и не владея вопросами обсуждения. Он был неутомим и невозмутим. Когда он выходил из себя, всем было известно, что это тщательно спланировано. Довольно любопытно, но это снимало злость и напряженность. Его выходка никогда не носила характер личного выпада. У него была исключительная память, дававшая ему возможность накапливать каждую уступку, какой бы крохотной она ни была, которую, по его мнению, мы делали, – или даже просто намекали. Потом она становилась бы стартовой позицией на следующем раунде переговоров. Громыко не верил в гениальные ходы или значительные маневры. Присущая ему внутренняя осторожность и внутренняя политика Москвы не позволяли в это верить. До того как подняться в состав политбюро в 1973 году, он был исполнителем, а не творцом политики. После этого он стал намного влиятельнее и заметно увереннее в себе; ближе к концу моего пребывания на своем посту он, не задумываясь, даже станет поправлять Брежнева, если будет считать, что его шеф сбился с установленного пути.

Метод переговоров Громыко становился почти стереотипом. Он казался отражением национального характера и русской истории. Как Россия расширялась на протяжении столетий, постепенно заполняя территории на плоской равнине, окружающей первоначальное Великое княжество Московское, так и Громыко предпочитал устойчивое давление смелому ходу. Он кропотливо накапливал минимальные достижения, пока они не превращались в важное отличие. Он рассчитывал на нетерпеливость своего партнера по переговорам, чтобы заполучить преимущество, которое никаким другим способом приобрести не мог бы. Он придерживал собственные уступки, по возможности, до самого последнего момента, почти всегда ближе к самому концу последнего запланированного заседания переговоров. Не было смысла тратить их попусту, как представляется, так он размышлял, пока имелась малейшая вероятность того, что противная сторона может уступить раньше. Ведя переговоры с неопытными переговорщиками, – а в сравнении с Громыко большинство переговорщиков были неопытными, – использовать такую технику было чрезвычайно эффективно. Когда, однако, кто-то это усваивал, то такая тактика оказывалась обреченной на провал. В конечном счете, становилось ясно, что,

если можно охранить свое самообладание на достаточно долгое время, то Громыко раскроет, что у него в заглазнике гораздо больше, чем был готов в этом признаться.

Если это было возможно, то Громыко даже само начало переговоров пытался выторговывать. Имеется в виду, что он уже требует уступок в качестве платы только за то, чтобы сесть за стол переговоров. А после этого начинает пытаться измотать своего противника за этим столом бесконечными пререканиями по поводу «общих принципов». Как только они согласованы, он будет пытаться повторно разбирать этот вопрос, уже пререкаясь по поводу проведения его в жизнь. Предварительные договоренности, таким образом, зачастую имеют тенденцию рассыпаться в ходе толкования их значения. Что бы ни говорил неодобрительно Громыко об увязках в принципе, он свято верил во взаимную увязку друг с другом каждой детали переговоров. Он предлагал каждую уступку в зависимости от ситуации, какого-либо продвижения по какой-то другой теме. И только после того как этот тяжелый процесс продемонстрирует ему, – а может быть, что важнее всего, его начальникам, – что лимон уже выжат настолько, что сделан совершенно сухим, Громыко станет продвигаться к решению вопроса, часто весьма и весьма быстро.

А затем берет верх внутренняя подозрительность, осложненная врожденной ненадежностью самой системы и бюрократической структуры, в которой он жил. Только раз этот мастер переговоров выдаст какие-то свои эмоции – на последней стадии переговоров, после того как соглашение, по сути, завершено. Тогда Громыко, судя по всему, оказывается во власти беспричинного страха, вызванного тем, что его партнер по переговорам совершит в последний момент некий трюк и обманет его. Он спешит с подписанием – показывая, что огромная напряженность прошедших месяцев и лет все-таки сказывается на его самообладании. Или, не исключено, он опасается злословия своих коллег, если сложное принятие решений оказывается напрасным. Прежние издевки в таком случае становились бы парадоксальным отражением полного отсутствия уверенности в себе, страхом быть обманутым в итоге, несмотря на самые невероятные усилия.

Несомненно, стиль Громыко выработал благодаря советской системе. Он был слишком опытным, чтобы не знать, что какие-то предложения, которые он выдвигал, нереализуемы, даже при его упорной настойчивости. Но, вероятнее всего, он мог бы убедить своих начальников, а позже своих коллег по политбюро, только благодаря череде затянувшихся тупиков. Большая гибкость,

возможно, представлялась подозрительной, подобно идеологической нечистоплотности или простой мягкотелости.

Каждый участник переговоров должен решить, в какой момент предельно допустимая выгода не стоит утраты доверия, вызванной всякими проволочками и мелкими затягиваниями, что уже фактически становится равнозначно бесчестному поведению. Непрофессионалы думают о великих дипломатах как о хитроумных людях; но умный дипломат понимает, что не может позволить обманывать своего партнера по переговорам. В конечном счете, репутация надежности и честности является важным качеством. Те же самые участники переговоров встречаются снова и снова; их способность работать друг с другом подрывается, если дипломат получает репутацию уклончивого или двуличного человека. Но в советской системе отсутствует поощрение за дальновидную сдержанность. Посему Громыко, как правило, действует, выторговывая уступки по мелочам, требуя при этом за свои минимальные изменения в позиции как можно более высокую цену. Он предпочитает бизнес не оптом, а в розницу – меньше риска. Для Громыко каждые переговоры были табула раса, некоей «чистой доской», когда все начиналось как бы заново. Все начиналось так, как будто не было никакой предыстории, и не устанавливалось никаких требований, никаких обязательств на будущее. Доверие, если оно вообще что-то значило, зависело от баланса интересов, который должен был определяться с нуля на каждом переговорах.

После 1973 года причина моих попыток удержать Москву от ближневосточных переговоров была частично геополитической, а частично заключалась в советском стиле ведения переговоров. Я был убежден в том, что прогресс в ближневосточной дипломатии зависел от подвижности, от сохранения позиций сторон сравнительно открытыми до тех пор, пока эти страны изучали не только правовые, но и психологические значения сказанного. Но я знаю, что Громыко, будь он вовлечен в это дело, предложил бы некий документ с бесконечными юридическими статьями, а затем педантично прорабатывал бы их одну за другой. Даже при советской доброй воле (которую я не принимал как саму собой разумеющуюся) это была дорога в тупик, к ветированию самых радикальных элементов, а следовательно, к взрыву, в конечном счете.

Порой тактика Громыко оставляла неприятное впечатление. Временами он – или те, кто принимал политические решения, – переигрывали сами себя. Абсолютный отказ пойти на риск, желание заполучить любую выгоду из переговоров привели к тому, как я уже продемонстрировал, что советские руководители упустили

возможность проведения встречи на высшем уровне в 1970 году, когда наши переговорные позиции были слабыми, или в 1971 году до нашего объявления о пекинском саммите. Если бы Советы ответили в 1970 году, они, по крайней мере, осложнили бы реализацию нашей китайской инициативы и помешали бы нашей свободе маневра на Ближнем Востоке. Если бы Кремль прекратил свою игру в кошки-мышки в связи со встречей на высшем уровне весной 1971 года и объявил дату, его переговорные позиции значительно усилились бы. Наши многолетние критики и некоторые кремленологи возложили бы вину за любой тупик на переговорах с Москвой на наши шаги в направлении Пекина. А продолжив прессовать нас, Кремль по собственной оплошности предоставил полную свободу нашей дипломатии двигаться в направлении как Пекина, так и Москвы.

В то же время Громыко мне все больше нравился, и я стал даже уважать его. В рамках своей системы, которую представлял, он был честен. Он был человеком слова. Бывало очень трудно убедить его согласиться с чем-то, но он всегда придерживался согласованных с ним условий – или в случае необходимости изменения курса делал это с видимым смущением. Несмотря на его мрачный вид, он обладал прекрасным чувством юмора, хотя американский стиль острословия на первых порах ему не давался. Мы встретились в первый раз на приеме, устроенном президентом для глав делегаций в Организации Объединенных Наций в сентябре 1969 года. Громыко подошел ко мне и сказал: «Вы просто вылитый Генри Киссинджер». Я ответил: «Вы просто вылитый Ричард Никсон». Ему понадобилось несколько секунд на реакцию, особенно если учесть, что сопровождающие его лица не спешили улыбаться, пока он не дал отмашки. Через год он уже обрел свой стиль. Когда мы обсуждали с ним, через какой вход он должен пройти в Белый дом на встречу с Никсоном, Громыко сказал, что ему без разницы: охранники отдадут ему честь и пропустят его через любой вход, у которого он появится, кто может остановить президента? Чтобы убедиться в том, что все – особенно его коллеги – поняли, что это была шутка, он рассмеялся от души смехом, похожим на смех уличного Санта-Клауса.

Во время московского саммита 1972 года наши ксерокопировальные приборы сломались. Зная о репутации оруэлловской вездесущности КГБ, я спросил Громыко на встрече в Кремле в нарядном Екатерининском зале, не может ли он сделать несколько копий для нас, если мы протянем некоторые документы прямо к люстрам. Громыко ответил, не задумываясь ни на секунду, что, к сожалению, камеры были установлены еще царями, они годились для фотографирования людей, но не документов.

Его любимой словесной эквилибристикой было двойное или даже четверное отрицание. «Не исключено» для него было убедительным подтверждением согласия. Когда дела шли плохо, его лицо приобретало такой вид жалобного уныния, что так и тянуло в порыве сострадания ему уступить. Но более всего он бывал упорным в отношении любого курса, которым шел, используя любой аргумент, который у него находился под рукой. Однажды мы спорили вокруг двух сравнительно незначительных параграфов одного документа. Громыко настаивал громогласно, что параграфы – все параграфы – должны составляться как крещендо, то есть все время повышаясь, как бы кричать вплоть до кульминационного последнего предложения. Дав ему возможность выиграть по этому пункту, я столкнулся с ним с аналогичным аргументом по следующему параграфу. Громыко сухо ответил, что некоторые параграфы должны формулироваться в диминуэндо, то есть с понижением силы звучания, как бы шептать. Я дал ему шанс. Он не смог заполучить их оба. Он предпочел крещендо в обоих параграфах.

Без всякого сомнения, Громыко был одним из способнейших дипломатов, с которыми я имел дело. В какой-то период он одновременно вел переговоры по ограничению стратегических вооружений, предупреждению возникновения случайной войны, Берлину, торговле и множеству других менее значимых соглашений. Он показал себя высококвалифицированным, терпеливым и дисциплинированным переговорщиком. Он владел всеми этими темами, но не владел большим даром предвидения и не предлагал какую-то убедительную модель мирового порядка, однако этого не делала и система, которую он представлял. В его предназначение или в концепцию его собственной роли не входило ставить главные вопросы. Да он и не выжил бы так долго, если бы это делал. Чжоу Эньлай, обладая чувством культурного превосходства представителя древней цивилизации, смягчал острые углы идеологической враждебности, используя легкость манеры общения и кажущуюся непринужденную способность проникать в самую суть проблемы. Громыко как представителю страны, которая никогда не господствовала, кроме как при помощи грубой силы, не хватало этой уверенности в себе. Он должен был проверять свой характер и выдержку при каждом контакте. Было довольно легко недооценить его. Его напористость бульдозера была преднамеренным методом действий, а не индикатором его тонкости и искусности. Он защищал свою страну в бурные и смутные времена; он маскировал свои слабости; он продвигался к своим целям. Он не смог достичь окончательного величия, но достиг важных целей и редко совершал ошибки, которых можно было бы избежать. Не так уж много министров иностранных дел, кому следует отдать такую дань уважения.

В октябре 1970 года я начинал свои первые шаги в общении с Громыко. Он прибыл в Вашингтон во время короткого периода надежды. После официального прекращения дела Сьенфуэгоса казалось, что советско-американские отношения улучшатся. Переговоры по Берлину и контролю над вооружениями были запланированы. Накал на Ближнем Востоке ослабевал. Казалось, что имеется согласие в принципе по времени и повестке дня встречи на высшем уровне. Хотя советский ответ 25 сентября привел к переносу саммита на 1971 год, это, с точки зрения готовности Никсона, не мешало получить выгоды от раннего оповещения до ноябрьских выборов. Никсон также хотел убедиться в том, что планирование предстоящего саммита останется в рамках канала Белого дома. Он попросил меня изучить эти возможности с Добрыниным до его встречи с Громыко и особенно обеспечить все так, чтобы не допустить, чтобы Громыко обмолвился об этом в беседе с Роджерсом, который тоже будет присутствовать. То есть, чтобы не проговориться, что мы вели обсуждение вопроса о встрече на высшем уровне с апреля, поскольку государственный секретарь узнал об этом только несколько недель назад.

Скоро стало очевидно, что подозрения и напряженность лета и осени сказались на обеих сторонах. Предварительная встреча с Добрыниным 17 октября приобрела несколько саркастически желчный характер. В дополнение к своим традиционным проповедям относительно американских ошибок он сказал, что Громыко прибыл для того, чтобы узнать о том, приняли ли мы решение занять жесткую позицию. Я сказал ему, что он увидит готовность президента изучать перспективы более счастливого будущего. Речь, с которой президент планировал выступить в Организации Объединенных Наций через несколько дней, будет составлена в примирительных тонах. Добрынин отметил, что Громыко будет готов обсуждать встречу на высшем уровне с президентом.

Перед встречей президента с Громыко я написал ему памятную записку по принципиальным вопросам. Встреча проходит, как я отмечал, в момент небывалой чувствительности в американо-советских отношениях. Нам необходимо спросить себя относительно действий Советов на Ближнем Востоке, их военной вылазки на Кубе, их продолжающегося наращивания стратегических вооружений, их политики избирательной разрядки, направленной на отделение нас от европейцев. У нас нет никаких веских доказательств относительно конкретных подходов советских руководителей, маневрирования, которое должно происходить с их стороны накануне съезда партии и распределения власти среди советского руководства. Я советовал не делать никаких попыток срабатывать одну фракцию в Кремле с другой; мы не знали достаточно хорошо

ситуацию, чтобы натравливать «голубей» против «ястребов». Лучшее, что мы могли бы получить из наших отношений с Советским Союзом, это соблюсти собственные интересы и дать возможность Советам определиться со своими. Пока еще рано говорить на данном этапе пребывания президента на своем посту о достижении фундаментального прогресса, но это, совершенно очевидно, несовместимо с неослабевающим давлением в пользу односторонних преимуществ и постоянных усилий использовать «горячие точки», что характерно для советской политики на современном этапе.

На встрече 22 октября между Громыко и Никсоном присутствовали Роджерс, я и Добрынин (и переводчики с обеих сторон). Громыко озвучил те же жалобы, что Добрынин обрисовал 17 октября. Никсон – частично потому, что он хотел оставить открытой возможность встречи на высшем уровне, а частично потому, что это было в его стиле, – отвел все обвинения самым обычным способом, подчеркнув важность поиска областей согласия, особенно в переговорах по ОСВ и торговле. Провели обзор ситуации на Ближнем Востоке, в вопросе о Берлине, европейской безопасности и Вьетнаме. Громыко не представил ничего нового, а Никсон подтвердил американскую позицию. На встрече обстановка была более сердечная, чем раньше, но никакого прорыва по существу.

К концу встречи, однако, Громыко поднял тему, которую с нетерпением ждал Никсон: идея проведения встречи на высшем уровне. Со своим обычным мастерством двойного отрицания Громыко допустил, что мысли президента по этому вопросу не противоречили мыслям советского руководства. Он предложил, чтобы встреча была организована в какое-то время после апреля 1971 года в Москве. Никсон ради записывающего беседу сотрудника Государственного департамента сделал вид, что расценивает эту информацию как новое для него и весьма важное предложение. Никсон согласился, что саммит в Москве станет значительным событием; действительно, тема становилась так часто объектом неверного истолкования, что решение провести саммит не должно обрушиться на неосведомленную общественность и конгресс путем утечки. Он поэтому рекомендовал как можно раньше объявить об этом. Но Громыко не был бы в течение 15 лет министром иностранных дел, если бы соглашался на что-то просто так. Он намеревался использовать перспективу встречи на высшем уровне, чтобы оказать еще большее на нас давление по делам, представляющим предмет озабоченности для Советского Союза, таким как Берлин. Он стал возражать. Он не имел в виду, что объявление о встрече на высшем уровне должно быть сделано сегодня или завтра. Он возвращается в Москву 29 октября. Вскоре после этого можно было бы согласовать время объявления между ними. Никсон, не желая продолжать обсуждать эту тему в

присутствии большой группы лиц, предложил показать Громыко свое убежище в здании исполнительного управления. Там, вдали от этой группы, находившейся в Овальном кабинете, он объяснил Громыко, что все приготовления к саммиту должны проводиться между Добрыниным и мной.

На следующий день Никсон выступил с важной речью в Организации Объединенных Наций, сделав акцент на американско-советские отношения. Не преуменьшая разногласия, Никсон занял примирительную и обнадеживающую позицию, как я и сказал Добрынину перед этим. Никсон подчеркнул наши постоянные темы: что в ядерный век классический образчик использования напряженности для извлечения односторонних выгод слишком опасен, что Соединенные Штаты хотели двигаться от эры конфронтации к эре переговоров, что мы готовы к урегулированию ожидающих своего решения вопросов на основе взаимности. Москве предоставлялся выбор между конфронтацией и переговорами; сам Никсон явно предпочитал последнее.

В тот день Никсон послал меня к Добрынину, который находился в Нью-Йорке, сопровождая Громыко в Организации Объединенных Наций, чтобы сделать еще одну попытку по поводу объявления о встрече на высшем уровне. Мы хотели бы объявить о саммите 29 или 30 октября из Сан-Клементе, как я сказал Добрынину. Не надо быть большим специалистом в области американской политики, чтобы понять этот совершенно очевидный маневр, проводимый так близко к нашим выборам в конгресс. Добрынин тут же предупредил о плохой связи (удивительное заявление для сверхдержавы) и медленном принятии решений. Но, в конце концов, он смилостивился и пообещал доложить Громыко и в Москву, имея в виду ускорить ответ.

Примирительная речь Никсона в ООН тем временем была тепло принята. Газета «Крисчен сайенс монитор» 24 октября переложила бремя ответственности на Советы: «Президент констатирует неотъемлемое мышление нынешней американской дипломатии. Мы аплодируем его ответственному призыву на высоком уровне. Мы требуем от московских лидеров аналогичного ответа». «Нью-Йорк таймс» 25 октября, отметив, что мы находимся «на перепутье», сказала, что ответ Москвы на новые вопросы Никсона «содержит ответ не только на разрядку, но и на будущее мира во всем мире».

Но отношениям не суждено было улучшиться в значительной степени. Второстепенные вопросы, как представляется, возникали почти постоянно один за другим и омрачали ситуацию. Вначале два американских генерала на

маленьком самолете «Бичкрафт» 21 октября заблудились в районе турецко-советской границы и приземлились на территории Советского Союза. Никто не оспаривал тот факт, что незадачливые офицеры действовали непреднамеренно. Советские руководители, однако, не только «смотрели дареному коню в зубы», но и посчитали возможным отпустить их только за наличные. Добрынину дали указание поднять вопрос об освобождении осужденного за шпионаж советского агента Игоря Иванова. Идея обменять двух генералов, не имевших ничего общего с разведкой, на осужденного шпиона вызвала одно раздражение, тем более что Добрынин знал, что Соединенные Штаты уже рассматривали возможность освобождения Иванова. Затем в ноябре литовский моряк Симас Кудирка попытался сбежать со своего советского траулера на борт катера береговой охраны США во время переговоров о рыболовстве у берегов Массачусетса. Ошеломленный командир судна береговой охраны позволил советскому моряку забраться на борт и отправил Кудирку обратно. Это привело в ярость Никсона и меня, но все закончилось задолго до того, как кто-то из высокопоставленных официальных лиц узнал об этом деле или смог как-то помешать. (Позже оказалось, что Кудирка имел законные основания просить американское гражданство. Ему позволили эмигрировать в Соединенные Штаты после личного ходатайства президента Форда о нем перед Брежневым.)

Но реальная причина советской отчужденности была в другом. Мотивация Никсона относительно раннего объявления о визите была совершенно очевидна и носила политический характер. Советы не совсем ошибались, когда считали, что время не очень подходит с точки зрения внешней политики. Политбюро не хотело встречи на высшем уровне до решения вопроса о Берлине, и оно боялось, что, если дата саммита будет согласована, то у нас не будет достаточных мотивов продолжать эти переговоры. Еще одной и, вероятно, решающей причиной колебания Советов был неурегулированный характер взаимоотношений внутри советского руководства. После того как был свергнут Хрущев в 1964 году, Советским Союзом правил триумvirат в составе Брежнева, Косыгина и Подгорного. Вплоть до почти конца 1971 года все наши связи высокого уровня с Советским Союзом проходили с Косыгиным. По мере приближения съезда партии все очевиднее стало доминирование Брежнева, но мы по-прежнему исходили из того, что принимать Никсона будет премьер-министр Косыгин. Громыко не высказал возражений, когда Никсон упомянул имя Косыгина в том контексте. Пока Москва не разобралась со своими внутренними приоритетами, политбюро станет проявлять осторожность, чтобы не подвергать риску свое единство во время саммита.

В конечном счете, советское руководство по-прежнему пока еще не исчерпало все возможности по выборочной разрядке в Европе. Ослабляя напряженность в отношениях с западноевропейскими союзниками, продолжая жесткую линию в отношении нас, Москва рассчитывала поддержать раскол среди западного альянса. В той мере, в какой нас обвиняли за напряженность, НАТО могло бы быть представлено в Европе как препятствие на пути к миру, которое превратило дружбу с Соединенными Штатами скорее в источник опасности, чем безопасности. Избирательная разрядка была способом поддержки европейского нейтрализма.

Через пять дней после разговора между Никсоном и Громыко Добрынин дал мне ответ на предложение о скорейшем объявлении. Подтверждалось советское желание провести встречу на высшем уровне. Содержалось согласие с президентом в том, что саммит должен быть тщательно подготовлен. Добрынин и я должны приступить к работе по этой теме немедленно. Время визита и соответствующее оповещение о нем как часть этой подготовительной работы, разумеется, будет обсуждаться. Но 30 октября со всей очевидностью слишком рано для такого события. Советское руководство отвергает «опасения» Никсона по поводу возможности утечек. Оно убеждено, что при таком небольшом числе осведомленных лиц об обсуждении вопроса о саммите не может быть такой опасности. В такой несколько пренебрежительной манере Советы обошли заходы Никсона.

Но если советские руководители полагали, что время работает на них, то они не совсем верно рассчитали. Они не могли завершить свою германскую политику без сотрудничества с нами, потому что парламент ФРГ затянул бы ратификацию восточных договоров без урегулирования вопроса о Берлине, а мы установили такую взаимозависимость с улучшением отношений между Москвой и Вашингтоном. Несколькими неделями спустя Кремль начал понимать, что его стратегия выборочной разрядки также не срабатывает. В середине декабря 1970 года он оказался неожиданно лицом к лицу с опасностью беспорядков в собственном дворе.

## Польские бунты

Народное творчество утверждает, что революции случаются тогда, когда условия становятся отчаянными. Реальная жизнь, воспринимаемая со времен Токвиля, такова, что большая часть беспорядков возникала, как раз когда

условия, как представлялось, улучшались. Полностью задавленные обычно слишком деморализованы, чтобы бунтовать. Насильственные перемены более всего вероятны, когда правительства становятся очень уверенными в себе, когда население чувствует, что у него появилось какое-то пространство для маневра, и когда имеет место некоторый прогресс, который подтверждает это ожидание.

Так случилось в Польше. 7 декабря 1970 года Брандт признал новые границы с Польшей и отказался от претензий Германии на возврат территорий к востоку от линии Одер-Нейсе. Он отправился в Варшаву для подписания договора, поклонился памятнику Героям гетто в Варшаве, а также совершил трогательный исторический визит в Аушвиц. Польский партийный руководитель Владислав Гомулка подумал – правильно, – что договор с Бонном снимет постоянный кошмар польского народа относительно ирредентистских настроений Германии, направленных на воссоединение утраченных земель. Он считал – ошибочно, – что сможет использовать свою новообретенную популярность для решения хронических экономических невзгод Польши. Неэффективные в своей основной массе отрасли промышленности Польши увеличили выпуск продукции, но стали затовариваться ненужной продукцией до тех пор, пока к 1970 году их запасы не достигли в общей сложности поразительных 50 процентов валового национального продукта. Плохие урожаи два года подряд усугубили обстановку, приведя к нехватке потребительских товаров и продовольственному кризису. Безработица усилила напряженность. В начале 1970 года 200 тысяч «избыточной» рабочей силы были уволены. Эти факторы вместе взятые привели к тому, что Польша с 1966 по 1970 год имела самые слабые темпы роста реальной заработной платы во всей Восточной Европе.

13 декабря, меньше чем через неделю после подписания западногерманского договора, польский режим поднял цены на мясопродукты в общей сложности от 10 до 33 процентов. Первые признаки беспокойства проявились в Гданьске на балтийском побережье. Протесты рабочих привели к массовым беспорядкам, которые распространились на два близлежащих города – Сопот и Гдыню. К 15 декабря работники судостроительной верфи в Гданьске пошли маршем на партийные комитеты. Два дня спустя потребовались танки для подавления волнений в порту Щецин. 18 декабря демонстрации распространились на шахтерский город Катовице. 20 декабря Гомулку сменил на посту партийного секретаря Эдвард Герек, сказавший народу, что волнения были вызваны «поспешными концепциями экономической политики», которые «мы устраним». 23 декабря польский парламент назначил Петра Ярошевича премьер-министром вместо Юзефа Циранкевича. Он немедленно приказал заморозить цены на

продовольствие на два года.

Эти драматические события столкнули нас с двумя проблемами. Самая непосредственная, ставшая в центре дискуссий в американском правительстве, состояла в том, как мы могли бы реагировать в случае подавления Советами польских волнений военным путем. К сожалению, почти 30-летняя послевоенная история не оставляла сомнений в том, что у нас имелось немного возможностей для военного вмешательства, что подтверждали исследования на случай чрезвычайной ситуации. Если мы не смогли бы упредить советское подавление, то у нас было мало средств не допустить его.

В отличие от моей точки зрения во время чешского кризиса 1968 года, я был убежден, что Советы будут крайне сдержанно вести себя в плане проведения военной оккупации страны такого размера и важности, как Польша. Самым важным аспектом польских бунтов были уроки, которые Советы могли бы извлечь из них. Советская политика стремилась поощрять западноевропейский отход от Соединенных Штатов, но, поощряя активизацию национальной политики Германии, Советский Союз пробуждал аналогичные национальные тенденции в Восточной Европе. Соглашение, решающее одну из национальных внешнеполитических проблем Польши на двусторонней основе с Бонном, подталкивало польское правительство на снятие внутренних проблем на национальной основе и тем самым ставило Советский Союз лицом к лицу с центробежными тенденциями в его империи в Восточной Европе. Я считал, что польские бунты подтолкнут Москву к Соединенным Штатам. 21 декабря я написал президенту:

«Советские руководители вполне могут также оказаться склонными посчитать, что восточная политика дестабилизирующе действует на Восточную Европу. К примеру, они могут посчитать, что договор с Германией привел Гомулку к выводу о том, что он может навязать населению непопулярный рост цен. Таким образом, Москва, не исключено, тоже захочет сделать паузу в своих отношениях с Бонном...

В то же самое время, если разрядка в отношениях с Бонном, по крайней мере на время, замедлится, советские руководители, если они предпочтут сохранить какие-то перспективы в плане разрядки напряженности, могут оказаться склонными к демонстрации некоторого улучшения отношений с нами».

Таким образом, к середине декабря 1970 года переговорные позиции между нами и Москвой, на мой взгляд, изменились. Мы фактически оказались в самом сильном положении с того времени, когда Никсон пришел к власти. Мы преодолели дела со Сьенфуэгосом и Иорданией; мы продемонстрировали нашу решимость оказывать сопротивление нажимам; Москва почувствовала хрупкость своего господства над Восточной Европой. И у нас был предохранительный клапан, о котором Кремль еще не знал. Примерно за десять дней до этого мы получили первое прямое сообщение от китайского руководства, предлагающее переговоры на высоком уровне.

Представив свою памятную записку, я провел несколько обстоятельных бесед с президентом относительно сложившейся ситуации. Я сказал ему, что настал момент, чтобы испытать канал между Добрыниным и мной. Я предположил, что Советы, возможно, созрели для того, чтобы нарушить тупик по ряду переговоров, из которых особенно важными были переговоры по ОСВ и Берлину, поскольку договор ОСВ оказал бы влияние на наш оборонный бюджет, а Берлин проверил бы на прочность нашу союзническую сплоченность.

Я сказал, что мы вновь должны будем столкнуться со становящимся почти ритуальным ежегодным наступлением конгресса на наш оборонный бюджет, символом чего стала противоракетная система (ПРО), которая также являлась нашим переговорным козырем на переговорах по ОСВ. Это заметно по тому, что начинают мобилизацию аналогичные с предыдущими боями силы, а боевые окопы сейчас заполняются теми же самыми лицами, столь привычными к конфронтации, что все стало концом конца. Ежегодно приглашаемая делегация представителей научных и академических кругов появится на слушаниях в конгрессе, все они будут выступать против ПРО как неэффективной, так и угрожающей стратегической стабильности программы. Повторение всего этого так до сих пор и не прояснило, как обе стороны подобной критики могут существовать одновременно. Ведущие сенаторы подхватят вызов выдвижением резолюций, предписывающих порядок осуществления наших развертываний или наши переговорные позиции, – это было переносом вьетнамского синдрома на другие области политики. «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост» представят в качестве сопровождения выходящие раз в две недели передовые статьи. Наша оборонная программа будет сокращена вначале самой администрацией, чтобы предупредить нападки со стороны конгресса, а затем вновь уже самим конгрессом, утверждающим таким образом свои прерогативы и стремящимся соответствовать мифу, с упорством маньяка распространяемому различными группами борцов за мир, который звучит так: только в случае ослабления

конгрессом наших военных кругов наше правительство будет вести себя ответственно и прекратит войну во Вьетнаме. По соглашению с Советами или на основании решения конгресса, но, так или иначе, мы приближались к одностороннему завершению программы ПРО.

Но если бы такое случилось, Советы утратили бы всякие стимулы для прекращения наращивания наступательных вооружений. Именно поэтому президент и я настаивали на увязке ОСВ с программой ПРО для того, чтобы заморозить советское развертывание наступательных вооружений[1 - Официальное предложение о замораживании создания наступательных вооружений, разумеется, должно было затрагивать обе стороны. Но поскольку у нас не было новых развертываний, которые мы могли бы предпринять в пятилетний период, мы фактически говорили о советском замораживании.]. Министерство обороны не только поддержало, но и продавливало это предложение. В декабре 1970 года я настоял на том, чтобы президент начал переговоры по этому вопросу. Если бы мы не сделали это, нажим со стороны конгресса мог бы заставить нас утратить все рычаги давления на советское наращивание стратегических сил.

Я сказал президенту, что, как полагал, по Берлину соглашение потребует парламент ФРГ в качестве платы за ратификацию договоров канцлера Брандта с Москвой. А это требовало нашего одобрения как одной из оккупационных держав (Соединенные Штаты, Советский Союз, Великобритания и Франция) и, не исключено, нашей активной дипломатии. Наша главная роль сдерживала националистические подводные течения восточной политики; она также побуждала Советы искать нашей поддержки. Я описал проблемы Советов в памятной записке Никсону:

«Советы, возможно, серьезно задумались над тем, что они не могут идти на мартовский съезд партии, когда их западная политика находится в плачевном состоянии, – отсутствие прогресса в вопросе о Берлине, отсутствие движения в ратификации договоров с ФРГ, отсутствие перспектив получения экономической помощи от Западной Германии – и при понимании того, что мы играем ключевую роль в этом все более сложном переплетении вопросов».

В то же самое время у нас был большой интерес к делу улучшения жизни в Берлине: сохранить моральный дух населения и особенно устранить этот

постоянный предлог для советского шантажа. К сожалению, переговоры по Берлину застряли в лабиринте бюрократических и околоюридических проволочек. Каждое предложение должно проходить через громоздкий механизм четырех держав, что, между прочим, исключало страну, более всего заинтересованную в исходе решения этого вопроса, Федеративную Республику Германия, официальные представители которой присутствовали только на заседаниях союзной консультативной группы. С учетом трудностей обговаривания каждого предложения внутри каждого правительства, затем между западными державами и в итоге с Советами в этом деле особых успехов не наблюдалось. Каждое изменение требовало недель, необходимых для разрешения противоречий, понятных только нескольким юристам, странная специализация которых заключалась в заумном предмете в виде Потсдамского соглашения 1945 года и его последующей юридической истории.

Для нас переговоры представляли особенную сложность. С одной стороны, мы могли бы добиться улучшения доступа в Берлин и ввели бы восточную политику в многосторонние рамки только в том случае, если бы были готовы выдержать длительный тупик. Это заставило бы Советы задуматься над тем, что им нужно соглашение по Берлину больше, чем нам. В какой-то степени мы уже этого добились. С другой стороны, в случае игнорирования и попустительства длительное затягивание, не предлагающее надежду на решение, очень сильно подрывало бы американо-германские отношения. Мы могли стать такими мальчиками для битья, обвиненными Брандтом в блокировании его политики и осужденными его оппонентами за то, что мы позволили ему выбиться слишком сильно вперед из общих рядов. Если бы случился еще один Берлинский кризис, ответственность пала бы на нас. Нам постоянно твердили советские дипломаты, что Франция и Федеративная Республика Германия обвиняли нас в медленном продвижении на переговорах по Берлину. Хотя советское намерение было явно предназначено для того, чтобы посеять раздор между нами, в сообщении, несомненно, была крупница правды. Наши союзники не гнушались тем, чтобы направить советский гнев на нас, а Франции, как представляется, особенно хотелось, чтобы ее обхаживали.

Умонастроение Брандта проявилось в письме, написанном им Никсону 12 декабря, в котором он настаивает – не без доли критики – на ускорении переговоров по Берлину. Брандт рекомендовал, чтобы переговоры переходили в «непрерывную конференцию». В таких обстоятельствах мы могли предотвратить выход переговоров по Берлину из-под контроля только в том случае, если собирались играть активную роль. Любая другая позиция могла бы завершиться либо опасными уступками, либо Берлинским кризисом. У меня была

другая причина, выходящая за рамки тактического урегулирования переговоров, которая состояла в том, чтобы испытать гибкость политики взаимного сдерживания. Вопреки всяческим потрясениям и кризисам, несмотря на мою твердую приверженность делу недопущения советских геополитических завоеваний, я чувствовал морально-политическое обязательство исследовать различные возможности сосуществования, несмотря на все неблагоприятные перспективы. Каждый политический руководитель обязан продемонстрировать на деле своему народу реальное положение дел и показать, что он прилагает максимум усилий для того, чтобы избавить человечество от ядерного холокоста, общего всеожжения. Скептики были озабочены тем, чтобы подобная политика, вводя в заблуждение свободные народы в плане реальной опасности, не подрывала их готовность защищать себя. Раскол, вызванный вьетнамской войной, увел меня в противоположном направлении. «Мирный вопрос» стали эксплуатировать некоторые люди, полные решимости подорвать доверие к правительству и, возможно, сплоченность общества. Им нельзя было оставлять злонамеренную монополию. Если мы собирались оказать сопротивление советскому экспансионизму, то должны были, как ни парадоксально, продемонстрировать, что все мирные инициативы были исчерпаны. Я в то время сохранял, и по-прежнему сохраняю, уверенность в том, что свободные народы могут достичь и того и другого, рассматривать свою безопасность через призму сильной обороны, одновременно изучая неопределенные перспективы достижения мира. И действительно, если они не в состоянии следовать к общим целям, они не достигнут ни одной.

В долгосрочной перспективе я полагал, что период международного спокойствия должен был бы принести больше проблем Советскому Союзу, чем нам, поскольку его сплоченность отчасти поддерживалась постоянными ссылками на внешнюю угрозу. Длительный период мира, как я был убежден, приведет в действие больше центробежных тенденций в тоталитарных государствах, чем в промышленно развитых демократиях. Стагнация в экономике, беспокойствие среди национальных меньшинств и инакомыслие будут поглощать все больше энергии Советов. Геополитические перспективы Советского Союза станут все более и более проблематичными по мере усиления Китая и заживления в Японии травмы от поражения. Время не обязательно будет на советской стороне.

Я стал проверять свои догадки относительно того, что советские руководители могли бы быть готовы к серьезным переговорам, в продолжительном разговоре с Добрыниным, состоявшемся 22 декабря, два дня спустя после того, как написал Никсону о польском восстании. Я подтвердил нашу убежденность в том,

что недавний политический курс Москвы несовместим с налаженными отношениями: обман в Сьенфуэгосе и постоянные попытки испытать на прочность пределы нашего понимания в этом деле; советская агрессивность на Ближнем Востоке; провокации в берлинских коридорах; задержка с освобождением двух заблудившихся генералов. Необходимо принятие фундаментального решения. Если политика отвоевывания мелких преимуществ будет продолжена, булавоочные уколы легко превратятся в раны, подозрительность может усилить нежелание идти на контакт в случае возникновения кризиса. Но существовала возможность более конструктивных отношений. Я предложил, чтобы мы использовали наш канал связи для урегулирования некоторых неразрешенных вопросов на основе строгой взаимности. Что-то должно и непременно выйдет из наших переговоров, кроме взаимных обвинений.

Поскольку у Добрынина не было никаких указаний, он мог только в обобщенном виде излагать установленную советскую позицию в примирительной форме. Но он согласился с необходимостью растопить лед. Он заверил меня в том, что его правительство настроено на достижение понимания с Соединенными Штатами. Он согласился и с тем, что нам следует провести ревизию переговорных материалов и найти области возможного проявления гибкости.

6 января Добрынин оставил ноту в моем кабинете в Белом доме. Я был в Сан-Клементе с президентом. В характерной форме в ней подразумевалась уступка после выражения жалобы. Громыко специализировался на двойном отрицании в дипломатической переписке, как, впрочем, и в личных беседах. На этот раз жалоба заключалась в том, что Соединенные Штаты не выполняют обязательство, якобы взятое Никсоном во время его беседы с Громыко. Никсон сказал, что Соединенные Штаты не смогут проявить больше гибкости по Берлину, пока Советы не примут органическую связь Берлина с Федеративной Республикой Германия. Москва тем временем сделала дельфийское высказывание, которое можно было бы интерпретировать как признание неразрывной связи, однако без расшифровки ее характера или каких-либо советских обязательств в плане их уважения и соблюдения. В ноте Громыко указывалось на это высказывание как на ошеломительную уступку, открывающую возможности ведения переговоров по «всем вопросам... в виде своего рода пакета». Советы не настолько глупы; высказывание Никсона было из рода метафорических украшений, при помощи которых главы правительств избегают влезать в решение серьезных оперативных вопросов. Но какими бы ни были намерения Никсона, – а его главный мотив состоял в том, чтобы проскочить через берлинскую часть его справочного материала без принятия какого-либо

обязательства, – принесенная Добрыниным нота в своей замысловатой форме показывала, что они готовились изменить свою позицию. До сего времени они настаивали на том, чтобы берлинские переговоры были сосредоточены на сокращении деятельности Западной Германии в этом городе в ответ всего лишь на подтверждение существующего статуса. Теперь они намекали на готовность двигаться к советским гарантиям доступа и улучшения жизни в Берлине. На этой основе уже можно было вести серьезные переговоры.

Я рекомендовал Никсону, чтобы мы дали позитивный ответ, в котором следовало бы настаивать на советских гарантиях доступа и четко определенном правовом статусе Западного Берлина. И я предложил увязать переговоры по Берлину с прогрессом на переговорах по договору ОСВ. Его, в свою очередь, мы сделали бы зависимым от советской готовности заморозить наступательные вооружения. Никсон одобрил эти рекомендации. Добрынина отозвали в Москву для срочных консультаций. Это могло означать, что советские руководители либо хотели быть недоступны из-за кризиса, который, как они знали, был неизбежен, либо они хотели избежать ответа на запрос, либо они действительно занялись серьезным анализом политики. Последняя гипотеза была более вероятной в данном случае; Добрынин отложил свой отъезд на 24 часа для получения нашего ответа на зондаж по Берлину.

После моего возвращения из Сан-Клементе я встретился с Добрыниным утром 9 января 1971 года в советском посольстве. Двухчасовая встреча оказалась решающей. Я выдвинул новые предложения по двум темам, которые обсудил и уточнил с Никсоном в принципе. Первой был наш ответ по Берлину. Я сказал Добрынину, что бессмысленно втягиваться в абстрактное толкование беседы между Громыко и Никсоном. Мы хотели две вещи от Советского Союза: во-первых, облегчить доступ в Западный Берлин и, во-вторых, получить советские гарантии по новым процедурам доступа. Мы не хотим, чтобы свобода Берлина зависела от доброй воли восточногерманского режима, на который у нас практически нет рычагов воздействия. Если советские руководители будут четко соблюдать свои обещания по этим двум вопросам, мы напрямую смогли бы подключиться к переговорам по Берлину. Мы были бы готовы провести предварительные переговоры по нашему каналу, и если бы они пошли хорошо, то заполнили бы их итогами созданный механизм четырех держав. Это неизбежно привело бы к консультациям с западногерманскими официальными лицами; мы не достигли бы никакого взаимопонимания с Советами без предварительного одобрения со стороны Бонна. Я предложил, как ясно дал понять во время последующего разговора, возможность намного ускорить темпы переговоров, но не давать все больше уступок.

В том, что касается ОСВ, то я предложил преодолеть тупик в связи с увязкой между ПРО и ограничениями наступательных вооружений[2 - 9 января не было никакого письма президента Брежневу или встречи президента с Добрыниным, как предполагается в некоторых материалах. Была только моя инициатива, - одобренная президентом, - по президентскому каналу с Добрыниным. (Первый контакт между Никсоном и Брежневым имел место в августе 1971 года.)],[3 - Н-р, РН: Мемуары Ричарда Никсона. С. 523. См. также Маркиз Чайлдс, «Вашингтон пост» 1 июня 1971 года.]. Я сказал Добрынину, что мы приняли бы советское предложение о проведении переговоров по договору о ПРО, при условии, если Советы немедленно начнут переговоры об ограничении стратегических вооружений. Оба вида переговоров должны были бы завершиться одновременно. Ограничение наступательных вооружений состояло бы из договоренности о том, что ни одна сторона не начинает создавать новые МБР наземного базирования, пока идут переговоры. Мы были бы готовы выдвинуть позже новое предложение о ракетах, запускаемых с подводных лодок. Результаты могли бы быть выражены в обменных письмах между президентом и Косыгиным (все еще считавшимся у нас партнером Никсона на переговорах).

По ОСВ и Берлину я предложил механизм упрощения сложного аппарата, который создавал тупиковые ситуации и вызывал неизбежное недовольство со стороны общественности. Любые успешные переговоры должны базироваться на балансе взаимных уступок. Но как добиться такого баланса - это весьма сложный процесс. Последовательность, в какой делаются уступки, становится очень важной. Все может провалиться, если каждый шаг должен отстаиваться самостоятельно, а не в рамках общей мозаики еще до проявления ответного взаимного шага. На начальных формирующихся стадиях переговоров в силу этого секретность становится жизненно важным элементом, как это поняла администрация Картера, когда ее усилия по открытой дипломатии подорвали несколько многообещающих инициатив. Очень часто важным элементом становится и скорость. Каждый вид переговоров достигает критической точки, когда они быстро двигаются к завершению или переходят в стадию застоя. Такое случается, когда высшие уровни правительства должны сами участвовать в них, чтобы преодолеть бюрократическую инерцию. Я предложил Добрынину механизм и заверения в секретности и скорости.

Добрынин задал несколько острых вопросов. Интересуясь этим, он также пытался добиться прорыва по Ближнему Востоку, но я остановил его. Я не считал, что условия для этого созрели. К этому времени Добрынин уже знал меня довольно хорошо, чтобы не питать иллюзий по поводу моих намерений

провести два вида переговоров – по Берлину и по ОСВ – в тандеме. А я узнал достаточно о советской системе, чтобы быть уверенным в том, что советское руководство могло действовать решительно и быстро, когда хотело. Добрынин пообещал дать ответ быстро. Уверен, что это было из тех обещаний, которые непременно будут выполнены. Добрынин вернулся менее чем через две недели. 23 января он пришел в комнату Карт в Белом доме весь преисполненный энтузиазма. Политбюро, как он сообщил, изучило наши предложения с большим интересом. Он встретился со всеми высшими руководителями и может сказать мне, что условия для встречи на высшем уровне сейчас просто блестящие. (Я на самом деле не затрагивал этот вопрос 9 января, но Добрынин, несомненно, видел некоторые выгоды в разыгрывании предполагаемого желания Никсона для игры на публику.) Советские руководители предпочитали бы июль или август; сентябрь, тем не менее, тоже подошел бы. Разумеется, вначале нужно добиться какого-то прогресса. Но все сейчас было преисполнено оптимизма. Разродившись советской концепцией увязки, Добрынин обратился к нашей. Советские руководители были в восторге от того, что я хочу сам принять участие в переговорах по Берлину. Им говорили Брандт и Бар, что из всех американских руководителей я лучше всех понимаю ситуацию в Германии. (Это, возможно, так и было; в то же самое время Москва, должно быть, решила, что игра на моем тщеславии не помешает.) Хотя официальные позиции не будут выдвигаться до фактического начала переговоров, Добрынин мог сказать мне сейчас, что предложение о том, чтобы Советский Союз предоставил какие-то гарантии, серьезно изучено Москвой. Как он сказал, становится ясно, что на Москву оказывается давление с целью достижения скорейшего соглашения по Берлину. Она пришла к пониманию того, что никогда не получит вождеделенные европейские договора до тех пор, пока не будет достигнута договоренность по Берлину. И придется за это заплатить определенную цену.

Что касается договора ОСВ, то Добрынин не был настолько определенным. Однако имелась хорошая возможность того, что Москва примет идею объединения оборонительного договора с замораживанием наступательных вооружений. Он поднял ряд практических вопросов. Один был настолько же сложным, насколько и затруднительным. В какой из многих версий проектов по ПРО, выдвинутых либо на переговорах по договору об ОСВ или в конгрессе, мы заинтересованы на самом деле. Я мог только с запинкой сказать, что мы сами еще не решили. Это был один из тех случаев, когда правда не столь желательна. Советам было непросто разобраться в позиции нашего конгресса (трехступенчатая система, защищавшая МБР), в нашем официальном предложении по ОСВ (национальные командные органы, то есть Вашингтон и Москва) и в личных убеждениях нашего главы делегации на переговорах по

ОСВ (которые представляли собой полный запрет). Я дал ясно понять, что переговоры по ОСВ будут корректироваться с шагами на переговорах по Берлину.

Советские дипломаты никогда не упускают возможность обратиться к бесконечному списку советских предложений. Теория, думаю, такова, что никто со всей определенностью не скажет, когда партнер по переговорам может по рассеянности или по невнимательности пойти на уступку. По меньшей мере, руководство в Москве, как представляется, требовало осязаемое подтверждение того, что его представитель не потерпел неудачу из-за недостатка напористости. После того как я вновь избавился от всех старых заготовок Добрынина – Европейской конференции по безопасности и Ближнего Востока в качестве ведущих тем, – мы согласились встречаться на регулярной и систематической основе, согласно установленным мной подходящим процедурам.

Я включился в два вида переговоров почти богословско-теологической сложности. Берлин затрагивал жизненно важные интересы трех других наших союзников и Советского Союза, и по нему работали уже два установившихся форума. Вопрос о договоре по ОСВ затрагивался на официальных переговорах, поочередно проводимых в Хельсинки и Вене и подкрепленных неизмеримо большим количеством технических и основных комитетов, часть которых я возглавлял. И если бы мы не проявляли большую осторожность, могли бы взорваться все предохранители.

Канал начинает действовать

К концу 1970 года я уже проработал с Никсоном почти два года; мы помногу говорили почти ежедневно, прошли через все кризисы в теснейшем сотрудничестве. Он все больше и больше был склонен поручать мне тактическое управление внешней политикой. Примерно в течение первого года я представлял обычно на одобрение Никсона краткое содержание того, что предполагал сказать Добрынину или северным вьетнамцам, к примеру, перед каждой встречей. Он редко менял что-либо из этого, хотя так же редко не делал каких-то жестко звучащих наставлений. К концу 1970 года Никсон больше не нуждался в такого рода памятных записках. Он предпочитал уже одобрять стратегию, обычно устно; он, как правило, почти никогда не вмешивался в повседневное претворение задуманного в жизнь. После каждого раунда

переговоров я представлял ему большую памятную записку и анализ. У Никсона, таким образом, были все возможности определять, выполняются или нет все его пожелания. Но я не могу вспомнить ни одного случая после 1971 года, когда он изменил бы ход переговоров, если они уже были в действии. Я знал, к чему стремился Никсон. Мы совместно определяли стратегию. Он не считал, что дирижер должен показывать, что один играет на всех инструментах в оркестре.

Но если я был уверен в поддержке со стороны Никсона, то совершенно не мог так сказать об остальном правительстве. Риск любых переговоров в большом бюрократическом механизме состоит в том, что те, кто исключен из этого, могут всегда заявить, что сделали бы все лучше, и чем меньше кто-то вовлечен в дело, тем больше подвергается искушению критики. Не подключенные к процессу взаимной притирки могут подчеркнуть максимальные цели; не будучи в курсе препятствий, могут списывать каждую уступку на отсутствие твердости или умения вести переговоры. Методика, которую я изобрел, усиливала решительность на переговорах, но затрудняла очень сильно выработку консенсуса по поводу результата переговоров.

И потом, существовала проблема овладения той или иной темой. У меня был слишком небольшой аппарат для того, чтобы вести одновременно два вида переговоров. Контроль над межведомственным аппаратом служил в качестве дополнительной поддержки. Он позволял мне использовать бюрократическую систему, не раскрывая наши цели. Я, бывало, выдавал как плановые задания те вопросы, которые на самом деле были предметом переговоров. В таком духе я мог узнавать мнение ведомств (как, впрочем, и необходимые справочные материалы) без формального «согласования» моей позиции с ними. То, что я предлагал Добрынину, отражало аппаратный консенсус, и было, вероятно, тверже, чем была бы официальная позиция на переговорах. Это объяснялось тем, что ведомства обычно занимали более жесткие позиции на межведомственных встречах по планированию работы, на которых можно получить репутацию радетелей бдительности без какого-либо риска, чем во время подготовки к конференции, в которой всегда найдутся ведомства, имеющие большую заинтересованность в успехе.

Такого рода чрезвычайные процедуры президент сделал по существу необходимыми, потому что не только не доверял своему кабинету, но и не хотел отдавать его членам прямые распоряжения. Никсон опасался утечек и уклонений при установлении строгой дисциплины. Но он был настроен решительно добиваться своих целей; таким образом, он поощрял процедуры,

которые вряд ли стали бы рекомендовать в учебниках по государственному управлению и которые работали тайно, а не напрямую в рамках существующих структур. Это действовало деморализующим образом на бюрократию, и она, будучи отрезанной от процесса, реагировала особым подчеркиванием независимости и своеволия, что заставляло Никсона обходить ее в первую очередь. Но это срабатывало; получался тот уклончивый сорт кропотливого планирования и четкой артикуляции, от которых зависит успешная политика. В 1971 и 1972 годах эти методы привели к прорывам в вопросе об ОСВ, открытии Китаю, соглашению по Берлину, встречах на высшем уровне в Пекине и Москве без каких бы то ни было осечек. Результаты следовало судить по их заслугам, хотя признаю, что цена была уплачена в соответствии с достижениями, и не считаю, что это следовало бы повторить. В случае с ОСВ официальные переговоры шли на основе требуемых периодических президентских указаний. Отсюда, я знал мнение ведомств как в виде абстрактного планирования, так и в отношении к конкретным переговорам. Было совершенно очевидно, что давление в пользу заключения соглашения только по одной ПРО нарастало внутри самого правительства. Несколько членов переговоров по договору ОСВ открыто отстаивали это. Представитель Министерства обороны договорился бы об одном соглашении по ПРО, если бы была увязка с замораживанием только одних тяжелых ракет, оставив все остальные ракеты не замороженными. Джерард Смит ратовал за запрещение ПРО или защиты органов национального командования в обмен на некоторые ограничения не уточненных видов наступательных вооружений, но такой подход с точки зрения использования козырей затруднял проталкивание любой программы ПРО в конгрессе, который не очень-то хотел тратить деньги на то, что подлежало бы демонтажу. Государственный департамент склонялся к соглашению об одной только системе ПРО, но был не очень-то готов настаивать на этом. Короче говоря, если бы мне удалось добиться успеха в увязке договора по ПРО с замораживанием всех стратегических ракет, я был бы весьма уверен в своих позициях, потому что добился бы большего, чем отстаивали ведомства.

С Берлином было намного сложнее управляться. Юридические позиции формировались на протяжении десятилетий Берлинского кризиса. Обремененные наслоениями традиций и с трудом достигнутого консенсуса, они не могли быть просто изменены президентским решением. Наша политика должна была вырабатываться по согласованию с тремя союзниками, ни один из которых не позволил бы прежним обвинениям о вмешательстве со стороны США встать на пути обвинения нас в излишней гибкости.

Продвигаться дальше без полной поддержки со стороны Брандта было невозможно, а для этого мне необходимо было встретиться с близким советником Брандта Эгоном Баром. Но в какой-то момент переговоры с Советами должны завершаться на форуме четырех великих держав. Поэтому мне также было необходимо заручиться сотрудничеством со стороны нашего посла в Бонне Кеннета Раша, который в силу занимаемой должности вел официальные переговоры по Берлину с нашей стороны.

Раш занял посольскую должность через частную промышленность; его последним важным постом была должность президента и директора корпорации «Юнион Карбайд». Никсон знал его, потому что он преподавал в юридической школе Университета Дьюка, хотя в то время он не встречался с Никсоном. Он был близким другом Джона Митчелла, в то время генерального прокурора. Это оказалось одним из лучших назначений Никсона. Спокойный, обладающий аналитическим умом, вдумчивый, Раш вел сложную роль в Бонне весьма тонко и умело.

Проблема Бара была схожа с моей. Ему приходилось иметь дела с переговорами, о которых не знало Министерство иностранных дел. С учетом давних бюрократических традиций в Германии это было гораздо труднее осуществлять в Бонне, чем в Вашингтоне. Ни один нормальный канал связи не казался заслуживающим достаточного доверия. Не мог Бар и просто прибыть в Вашингтон под тем или иным предлогом, не вызвав имевших место в прошлые годы споров относительно его юрисдикции. Государственный департамент стал бы настаивать на участии в наших беседах, а западногерманское Министерство иностранных дел попросило бы направить ему отчет. Для того чтобы обойти все эти проблемы, я отправил курьера в Бонн 27 января с личными письмами Бару и Рашу. Я сказал Бару, что мы готовы принять предложения канцлера ускорить переговоры по Берлину; следовательно, настоятельно необходима наша с ним встреча. Я рассчитывал, что он прибудет, имея полные полномочия от канцлера. В качестве открытой цели его поездки я дал инструкции курьеру передать приглашение вице-президента (в качестве председателя национального космического совета) принять участие в запуске космического корабля «Аполлон-14» на Луну 31 января 1971 года. Прими Бар это предложение, я принял бы участие в этом мероприятии, а затем организовал бы его перелет в Нью-Йорк, и мы могли бы переговорить в самолете. Бар немедленно принял предложение, отправившись в Вашингтон в течение 24 часов. Там я уклонился от встречи с ним, а встретился во время перелета на мыс Кеннеди 30 января.

Письмо Кену Рашу было вручено тем же посланцем. Для оправдания поездки Раша в Вашингтон я организовал телефонный звонок от его друга Джона Митчелла. Он в качестве предлога использовал желание обсудить политические назначения с послом. Государственный департамент утвердил поездку Раша на «консультации», и я встретил его вечером 3 февраля в вашингтонских апартаментах Митчелла в Уотергейте, до сего времени пока еще мало кому знакомом жилом комплексе.

Я проинформировал Добрынина о своих действиях (его правительство, несомненно, узнало бы так или иначе от Бара), добавив, что Москва могла бы что-то выдвинуть для того, чтобы придать всем участникам некое чувство доверия. К моему удивлению, Добрынин появился в течение 24 часов с предложением того, от чего Советский Союз раньше полностью отказывался. Советы настаивали на том, что процедуры доступа касались только двух Германий; нашим требованием в случае возникновения проблемы было бы наличие нормальных процессов международного права в отношении Восточной Германии, которую мы даже не признавали. Следовательно, мы мало что могли бы сделать в плане реализации своих требований. До сего времени Советы пытались использовать ненадежное географическое положение для того, чтобы повысить международный статус Восточной Германии, отвергая всякую ответственность за возможные осложнения в плане доступа. А теперь они предлагали, что при каждом новом урегулировании по Берлину каждая из четырех великих держав имела бы право обратить внимание остальных на нарушения – неубедительная и пока еще неудовлетворительная ссылка на ответственность четырех великих держав. Пока это был только предварительный шаг к существенным советским гарантиям. Но любой знакомый с тактикой Громыко знал, что он никогда не начинает с излишне щедрых изначальных позиций.

Ухищрения с Баром сработали, и 30 января мы, как и планировалось, прибыли на мыс Кеннеди на запуск ракеты на Луну. Я всегда считал, что наблюдение за запусками в космос больше подходит детям. Но был глубоко потрясен в ту ночь, когда наша небольшая группа посетила в полночь ракету «Сатурн-5». Для находящихся в выгодном положении зрителей, расположившихся за километры от стартовой площадки, стоящая одиноко ракета без опорных подставок не выглядела так потрясающе. Но по мере приближения к ней она становилась гигантской в своих размерах, превращая нас в карликов, и нам было как-то стыдно за самих себя.

Я знал о дебатах, которые велись вокруг пользы космических программ. Чувству приключенчества ранних этапов пришло на смену препирательство по поводу национальных приоритетов. Но я считал, что нам нужны космические программы, помимо сугубо научных доводов, потому что общество, которое не стремится за горизонты, вскоре сузит их само. Довод о том, что надо вначале разрешить все наши проблемы на Земле, прежде чем устремляться за пределы нашей планеты, навечно прикует нас к земле. В мире не будет никогда мира без проблем. Они превратятся скорее в навязчивую идею, чем в вызов, пока человечество не станет постоянно расширять свой кругозор. Колумб никогда бы не открыл Америку, если бы Европа в XV веке действовала в соответствии с необременительным лозунгом о том, что ей нужно вначале решить все собственные проблемы. И, как это ни парадоксально, эти проблемы стали бы неразрешимыми, а Европа задохнулась бы в растерянности. Вера дала движущие силы для такой переменчивой одиссеи человечества. Но как и о чем мечтают в технократический век? Как человек восстанавливает веру, которая заставляла небольшие крестьянские общества строить соборы со шпилями, устремленными в небеса, крупные монументальные здания, для завершения строительства которых требовались столетия, сохраняющие в камне свидетельства их настойчивости и размаха устремлений? Никто не мог знать, что мы обнаружим в космосе: Луна была только первым маленьким шагом. Я помнил слова одного астронавта, который говорил мне, что самый жуткий момент настал, когда он вступил в капсулу подъемника. Впервые не было операторов. Все пребывало в тишине, когда его вскоре собирались запустить в путешествие, из которого, как он знал, мог и не вернуться самостоятельно. И он почти запаниковал.

И мне казалось, что в то время как я стоял там, на мысе Кеннеди, со своей дочкой Элизабет, которой в то время было 10 лет, и сыном Дэвидом, которому тогда было 8 лет, нас как бы накрыло, каждого по-своему, чувство одиночества. Они будут жить в мире, субъективно отличающемся от моего; их восприятие реальности носит совершенно иной характер. Я знал только национальные границы, когда был ребенком. Космос был за пределами моего воображения. О телевидении и мысли не было. Они же оба будут менее сдержанными и более прозаичными. Горизонт не стал бы их пределом, каким он был для меня. Как ни странно, но их физические возможности достижения чего-либо, скорее всего, будут сопровождаться ослаблением их воображения. Мое поколение было воспитано на книгах, заставлявших читателя вызывать в воображении собственную реальность. Реальность моих детей представлялась им ежедневно на телевизионных экранах, и они могли впитывать ее пассивно. И, тем не менее, они жили в мире, в котором путешествия на сотни миллионов километров

определялись ускорением, приданным в первые десять секунд, которое затем по большей части не менялось, – такое понятие было за пределами моего воображения в их возрасте.

Что бы ни случилось, как я полагал, сейчас я был в числе тех, кто имел власть придавать изначальное ускорение, превращая будущие поколения в участников путешествий, которые они сами не выбирали. Если наша цель была ошибочной, даже самый опытный навигатор не был бы в состоянии исправить ее. Наша задача состояла в том, чтобы взять на себя ответственность и найти траекторию к миру, в котором еще никто не бывал. Но у нас также была опасность проскочить в некий вакуум. Наши самые важные решения будут заключаться в том, начинать или нет наше путешествие, а решающим качеством, которое нам требовалось, была вера в будущее, созданная отчасти благодаря акту о приверженности этому делу.

Пока астронавты, вызвавшие такие размышления, направлялись к Луне, Бар и я отправились обратно в Нью-Йорк и в приватной обстановке небольшого военно-транспортного самолета «Джет стар» проговорили весь путь о Берлине. Бар выступал за ускорение переговоров и был полон энтузиазма по поводу моей готовности подключиться к решению этого вопроса. Но теперь могли ли мы, от имени глав наших правительств, вести важные переговоры, о которых не знали наши собственные министры иностранных дел, – и как мы могли помешать Советам настраивать четыре западные великие державы одну против другой? Поскольку я знал, что Бар был в тесном контакте с советскими дипломатами, я настоял на том, чтобы мы информировали о каждом контакте с советскими или восточногерманскими представителями по Берлину, и по остальным вопросам мы договорились о сложном процессе проведения консультаций. Бар и Раш вместе должны были сформулировать предложения по трем направлениям – процедура доступа, гарантии и действия Федеративной Республики Германия в Берлине – и прозондировать реакцию наших союзников. Я затем смогу обсудить их с Добрыниным, после чего Раш или Бар вынесут их на официальные каналы. Вопреки всему трехмерные шахматы заработали. В течение семи месяцев мы добились соглашения, которое выдержало испытание временем.

Все вопросы с Кеном Рашем были улажены на нашей встрече вечером 13 февраля в апартаментах Джона Митчелла. Раш согласился с тем, что, возможно, ни один план не сработает в конкретных временных рамках. Если тупиковая ситуация окажется излишне затянувшейся, Брандт попытается сам ее взломать, обвинив нас в не претворенных в жизнь Германией национальных

чаяниях и, не исключено, начав новый и более независимый национальный курс. Раш усомнился в том, сможем ли мы справиться с Берлинским кризисом и сопутствующими внутренними волнениями в Германии, когда все еще продолжалась война во Вьетнаме.

Оставалось только установить канал связи. ЦРУ, разумеется, оставалось доступно. Раш считал, что главный резидент не мог не ввести в курс дела кого-нибудь из своих подчиненных, кроме того, он был довольно близок к кому-то из посольского персонала. Но, что важнее всего, резидент не мог посещать очень часто Бара для получения или передачи посланий, не вызывая подозрений. Мой заместитель Ал Хэйг нашел решение. Он разработал совместно с офицером по связи с ОКНШ капитаном ВМС Рембрандтом Робинсоном сложную цепь специальной связи по каналам военно-морских сил с офицером ВМС во Франкфурте. Она была установлена руководителем военно-морских операций адмиралом Элмо Зумволтом, позже ставшим ярким противником такого рода дипломатии. Офицер во Франкфурте был описан мне в памятной записке от Хэйга как «полностью надежный» и свободный от любых «обязательств перед нашим посольством или какими-либо другими разведывательными или ведомственными интересами». Чем он занимался во Франкфурте, я даже представить себе не мог и не собирался интересоваться, что и было очень хорошо. В любом случае, офицер ВМС, имея специальные телефонные номера от Бара и Раша и свой собственный, стал важным звеном. Телеграммы Государственного департамента о Берлине постоянно становились достоянием гласности, у них была слишком большая разметка о рассылке. Передачи по каналам связи ВМС никогда этим не страдали. И мы были признательны за то, что нас не коснулось это осложнение, потому что к началу февраля как ОСВ, так и Берлин уже были готовы к секретным переговорам.

Переговоры по ОСВ и соглашение от 20 мая

Когда я стал рассматривать возможности прорыва по договору об ОСВ с Добрыниным, официальные переговоры, которые возобновились в Хельсинки в начале ноября, оказались в тупике, точно так же, как и наши внутренние дебаты. Существовала формальная договоренность в нашем правительстве о том, что Соединенные Штаты будут стоять на своем последнем предложении от 4 августа 1970 года, которое ограничивало бы обе стороны «согласованным количеством» ракет и бомбардировщиков и ограничивало бы количество советских тяжелых ракет 250 единицами (количеством, которое к концу 1970 года Советы уже превзошли). Как я уже отмечал, многие члены делегации

на переговорах по ОСВ были в приватном порядке не очень тверды в отстаивании этих предложений.

В том, что касается ПРО, наши позиции на переговорах были в полной неразберихе. Советы приняли наше предложение системы, ограниченной органами национального командования (ОНК), на которую не получали финансирования от конгресса. Мы запрашивали конгресс о финансировании трех площадок, которые, однако, не включали национальную столицу. Расхождение между нашей переговорной позицией и конкретной программой все больше расширялось. Сенатор Джон Стеннис сказал Джерарду Смиту в октябре, что вопрос о ПРО «портит» все дебаты о расходах на оборону.

Для того чтобы очистить бюрократические записи, я запросил Смита по закрытым каналам, согласен ли он с тем, чтобы ограничения оборонительных и наступательных вооружений оставались взаимоувязанными. Ответ Смита был не без двусмысленности. Фактически он оставлял открытыми все возможности для запрета ПРО на переговорах и полное закрытие программы ПРО конгрессом. Его личное возражение по-прежнему касалось необходимости отдельного соглашения по ПРО, что Советы вновь предлагали в декабре. Тем не менее он настаивал на том, что «моментальный» отказ принесет ненужные волнения. Президент, возможно, захочет «пересмотреть» свою политику неприятия отдельного соглашения по ПРО. В итоге вопрос о ПРО вновь возник внутри самой администрации.

Действительно, дебаты относительно позиции по договору об ОСВ начали сливаться с приобретающими почти религиозный характер ежегодными выступлениями против ПРО. В очередной раз стало нарастать давление со стороны общественности. 17 января 1971 года «Нью-Йорк таймс» приняла за нас советское предложение по ПРО, осудив настойчивое желание президента увязать наступательные и оборонительные вооружения. 26 января самая первая кандидатура на пост президента на выборах от Демократической партии сенатор Эдмунд Маски объявил о своем вкладе в дело поощрения советской гибкости. Во время своего недавнего визита в Москву он сказал премьеру Косыгину, и это было подтверждено сенатором, что «в Соединенных Штатах есть круги, которые хотят урезать расходы США на вооружения». Сенатор не считал это вредным для нашей внешней политики – от кандидата на пост президента сказать советскому премьеру, что влиятельные члены конгресса стремятся сократить нашу оборону: «Поскольку я могу говорить об этом с трибуны в сенате, я не вижу никаких треклятых причин, почему я не могу

сказать это же самое Косыгину»[4 - «США раскололись в вопросе о расходах на оборону – так Маски сказал советскому премьеру». «Вашингтон стар», 26 января 1971 года.]

Направленная против ПРО кампания получила непреднамеренный импульс после того, как министр обороны Лэйрд сообщил, что Советы, как ему показалось, замедлили создание новых МБР. Это было воспринято многими как один из множества других советских «сигналов», при помощи которых неуверенные в себе товарищи в Кремле намекали на свои намерения. Это была непонятная концепция, учитывая повторяющиеся отказы, при помощи которых те же самые советские руководители били дубинкой по нам по всем вопросам, представлявшим реальный интерес для них. Так называемый советский сигнал воодушевил Джерарда Смита на письмо на имя президента с предложением объявить остановку дальнейшего развертывания по программе ПРО в качестве знака нашей доброй воли. В случае возобновления создания Советами ракет мы были бы совершенно вправе продолжать нашу собственную ракетную оборонную программу. Эта тема с разными вариациями была повторена в комментариях в конгрессе и СМИ. 1 февраля сенатор Хьюберт Хамфри потребовал в сенате заморозить американские программы ПРО и РГЧИН. «Без какого-либо ущерба для нас самих, – заявил Хамфри, – и при абсолютной гарантии нашей собственной безопасности – мы можем прекратить нашу часть гонки ядерных вооружений в ответ на действия, уже предпринятые Советским Союзом»[5 - «Сенатская комиссия должна быть проинформирована о прогрессе на переговорах по разоружению». «Вашингтон стар», 2 февраля 1971 года.]. К марту советские «сигналы» испарились. Оказалось, что Советы всего лишь приостановили создание СС-9 с тем, чтобы начать производство нового поколения межконтинентальных баллистических ракет СС-18[6 - Советские ракеты Р-36, по классификации НАТО, СС-9 «Скарп» («Крутой обрыв»), Р-36М, в западной классификации СС-18 «Сатан» («Сатана»), и ракетный комплекс УР-100 (в западной классификации СС-11 «СЕГО»). – Прим. перев.], продолжая сооружать пусковые шахты для ракет СС-11. На самом деле в 1971 году Советами было сделано больше ракетных запусков, чем за предыдущие десять – без одного года – лет. Этот факт ни на йоту не облегчил давления в пользу сокращения расходов на оборону. Никто из тех, кто просил ответить на советский «сигнал» сдержанности, не просил нас отреагировать на советское наращивание.

Шумиха, направленная на прекращение программы ПРО и замедление темпов реализации других программ, продолжалась на протяжении всей весны. 3 февраля на закрытых слушаниях сенатского комитета по международным делам сенатор Фрэнк Черч призвал президента принять «в качестве первого

шага соглашение только по одной программе ПРО». Уильям Фостер, директор агентства по контролю над вооружениями и разоружением при президенте Джонсоне, 26 февраля призвал к «полному запрещению развертывания, производства и испытания системы ПРО»[7 - «Глава делегации США на переговорах дает показания по вопросу об ограничении ПРО». «Вашингтон пост», 4 февраля 1971 года; «Фостер требует полного запрета на испытания ПРО». «Вашингтон пост», 28 февраля 1971 года.]. К концу марта сенаторы Хамфри, Гарольд Хьюз и Джордж Макговерн объединились в призыве к заключению одного только соглашения по ПРО. Сенатор Стюарт Саймингтон предложил взаимную заморозку систем ПРО и утверждал, что это сделает РГЧИН ненужными. Сенатор Маски обещал провести закрытые слушания в апреле.

5 апреля «Нью-Йорк таймс» одобрила сделанное ранее сенатором Маски предложение о том, что Соединенные Штаты отказываются от «Посейдона» и «Минитмен-3» и соглашаются на взаимное прекращение развертывания систем ПРО, – лишая нас одним ударом всех стратегических программ. 6 апреля сенатор Маски присоединился к своим коллегам в отстаивании соглашения, ограничивающего или запрещающего ПРО в качестве первого шага. К началу мая критика с этой стороны усилилась вместе с обвинениями в том, что администрация преднамеренно затягивает дела с переговорами по ОСВ с тем, чтобы продолжать свою гонку вооружений. Сенатор Саймингтон зашел так далеко, что обвинил администрацию в «преднамеренном планировании не заключать вообще никакого соглашения в области контроля над вооружениями»[8 - «Юнайтед пресс интернешнл», 4 мая 1971 года.].

Утверждение администрации о том, что ПРО является полезным «переговорным козырем», подверглось острой критике. Сенатор Фулбрайт, председатель сенатского комитета по международным делам, утверждал, что «аргументация с переговорным козырем» ошибочна и служит только целям эскалации гонки вооружений. Газета «Крисчен сайенс монитор» 12 мая обвинила администрацию в утроении ударной ядерной силы США, в то время как Советы ничего не размещали – странное заключение в свете советского наращивания темпами по 200 ракет в год на протяжении почти десятилетия. «Вашингтон стар» сообщила 13 апреля о том, что формируется новая коалиция против расходов с целью сокращения от шести до восьми миллиардов долларов оборонного бюджета. Сенатор Уильям Проксмайер начал эту кампанию, выступив против стратегического бомбардировщика В-1, новых авианосцев и подводных лодок, как и против истребителей F-14 и F-15, а также вертолетов «Шайенн».

Не было, короче говоря, ни одной новой американской системы вооружения, которая не попадала бы под яростный огонь со стороны СМИ и конгресса. Одновременно сенатор Майк Мэнсфилд направил свою ежегодную резолюцию относительно вывода половины американских войск из Европы. Она потерпела поражение с небольшим перевесом голосов после весьма отчаянной борьбы (описана в Главе III).

В итоге конгресс сократил 3 млрд долларов из запрошенной администрацией суммы. В документе мы запросили на закупки вооружения сумму, несколько превышающую запрошенную в предыдущем году, или 73,5 млрд долларов в сравнении с 68,7 млрд долларов. Но это означало намного меньше расходов на вооружения, поскольку рост расходов на 4,6 млрд долларов больше означал необходимость только уложиться в повышение заработной платы с учетом перехода к добровольческой армии, а остальное поглотила инфляция.

В 1971 году, как и в предыдущем году, администрации повезло с сохранением основы для последующего расширения путем поддержания медленной, но постоянно продвигавшейся программы для бомбардировщика B-1 и размещающихся на подводных лодках ракет «Трайидент», а также современного тактического самолета. Таким образом, мы едва-едва поддерживали наши переговорные позиции по договору ОСВ. Но опасность была реальной, и заключалась она в том, что рано или поздно та или иная программа падет жертвой безостановочного наступления со стороны конгресса.

В такой именно атмосфере внутренние дебаты предыдущего года возобновились вновь. На заседании СНБ 27 января 1971 года одни деятели, представленные Государственным департаментом и агентством по контролю над вооружениями и разоружением, заявляли, что переговоры по ОСВ получают толчок только благодаря замедлению программы ПРО. Другие (подобно мне) придерживались как раз противоположной точки зрения, состоящей в том, что американская программа ПРО была важна с точки зрения любых надежд на принятие Советами ограничений на наступательные вооружения. Мел Лэйрд и ОКНШ хотели продолжать работать с программой ПРО «Сейфгард», распространяемой на четыре площадки, хотя только две были фактически построены, а строительство одобренной третьей площадки на базе ВВС в Миссури «Уайтмен» еще не начиналось. Дискуссии продолжались с переменным успехом еще один месяц по вопросу о том, надо ли нам увязывать нашу позицию на переговорах по ОСВ с фактической позицией по программе ПРО.

Никсон, в конечном счете, вылил ушат холодной воды на эту дискуссию в марте. Он был убежден, и правильно, в том, что конгресс убьет идею с ОНК как средство запретить все программы ПРО. В итоге было принято президентское решение 11 марта продолжить реализацию системы «Сейфгард» на четырех площадках и привести нашу позицию на переговорах по ОСВ в соответствие с этим. Соппротивление ратующих за запрещение ПРО или защиты органов национального командования было настолько мощным, что это решение не было передано Советам нашей делегацией на переговорах по ОСВ до тех пор, пока из моего аппарата не стали их постоянно бомбить запросами и не направили им новые официальные указания от 22 апреля.

Мои переговоры с Добрыниным должны расцениваться именно с учетом такого фона. Советы, должно быть, подвергались мощному искушению пересидеть нас, чтобы пожать плоды наших внутренних дебатов, которые могли бы освободить их от необходимости идти на какие-либо ответные шаги. 4 февраля Добрынин подтвердил, что политбюро согласно в принципе обсуждать привязку соглашения о ПРО с замораживанием размещения наступательных ракет. Но кажущаяся уступка стала всего лишь входным билетом на переговоры, проводимые с характерной для Москвы тактикой «американских горок» чередования то взлетов, то падений, то наступления, то отступления, неохотно сделанных уступок, проталкиваемых вновь и вновь. А переговоры и дальше продолжали осложняться в силу того, что стратегия Громыко на 180 градусов отличалась от моей. В то время как я делал упор на Берлине для того, чтобы ускорить прогресс на переговорах по ОСВ, Громыко притормаживал переговоры по ОСВ, чтобы ускорить дискуссии по Берлину.

10 февраля Добрынин подтвердил понимание относительно увязки ограничения наступательных и оборонительных вооружений. Если оба соглашения не могут обсуждаться одновременно, Советы рассмотрят замораживание наступательных развертываний в зависимости от результатов переговоров. В том, что касается ПРО, Добрынин высказался за предпочтение варианта с органами национального командования.

При нормальных переговорах все дела были бы закончены. Можно было бы пойти от соглашения в принципе к выработке сравнительно простого документа, отражающего решение провести переговоры по ограничению наступательных и оборонительных вооружений одновременно. Технические команды затем приступили бы к своей работе до тех пор, пока не понадобилось выйти из тупика посредством резолюции на политическом уровне. Но с Кремлем ничто не

срабатывает так просто. Теперь мы столкнулись с советской тактикой, которая заключалась в том, чтобы вначале продать принцип, а затем попытаться продать этот же товар, но уже в виде самого существа вопроса. Вероятно, с целью демонстрации мускулов, – а более правдоподобно, то для выполнения некоего бюрократического плана, составленного несколько месяцев назад, – Советы направили еще одну плавучую базу для подводных лодок в Сьенфуэгос с предсказуемой реакцией. 22 февраля я вызвал Добрынина и потребовал немедленно ее убрать. Никаких переговоров не будет, пока база находится на Кубе (она отбыла вскоре после этого). В то же самое время я вручил Добрынину проекты обмена письмами между Никсоном и Косыгиным, излагающими понимание того, что переговоры по ограничению наступательных и оборонительных вооружений будут проводиться одновременно. Эти проекты были подготовлены сотрудниками моего аппарата, на основе межведомственных дополнительных материалов к дискуссиям по ОСВ. Но на этом все застопорилось. На встречах 26 февраля и 5 марта Добрынин радостно заявил, что все его руководители покинули Москву и готовятся к предстоящему XXIV съезду партии. В силу этого им трудно сосредоточиться на такой сложной теме, как переговоры по ОСВ. Я не мог не высказаться по этому поводу, что они, как представляется, не видят трудностей в том, чтобы заниматься такой даже более сложной и запутанной темой, как Берлин, по которой не проходит и недели, как они шлют какие-то детальные сообщения из Москвы.

Время наступало решающее, причем все осложнялось нашими собственными процедурами. Официальные переговоры по ОСВ были возобновлены в Вене 15 марта. Нам нужно было сформулировать новые указания, которые ни на гран не должны были отходить от того, что происходило на переговорах по специальному каналу. В то же самое время Никсон был охвачен страхом, что Джерард Смит, а не он сам, получит все лавры за кажущийся неизбежным прорыв в увязке наступательных и оборонительных ограничений. На президента было обрушено достаточно ударов из-за Вьетнама и Камбоджи, чтобы не подвергнуться человеческим чувствам – желанию испить чашу победителя за инициативы, которые ассоциируются с миром. Я вновь заверил Никсона, что такой прорыв произойдет в Вене только в том случае, если Москва преднамеренно предпочтет обойти президентский канал связи, и не только по этому вопросу, но и по всем остальным. Это будет судьбоносное решение, и оно будет противоречить советским интересам, по крайней мере, до тех пор, пока на чаше весов будут восточные договора Брандта. По-прежнему партизанская война продолжалась, когда Добрынин 12 марта вручил мне советский проект, в котором делался шаг назад относительно принципа одновременности наступательных и оборонительных ограничений. В нем содержался призыв к

заключению соглашения по ПРО в «этом году» в привязке к национальным столицам (в качестве ОНК); наступательные ограничения будут обсуждены после достижения такого соглашения и только «в принципе». Это повторение старой официальной позиции на переговорах по договору об ОСВ не могло быть серьезным. У Добрынина было что-то в запасе. Предложение было выдвинуто советским руководством в качестве окончательного подтверждения самим себе, что оно ни на что не пойдет. Не было смысла в специальном канале, если он всего лишь дублировал тупик на низком уровне. Как только я отверг предложение Добрынина, он раскрыл все свои карты: он не попросил время на консультации с Москвой, – что было бы вполне естественно, если бы первый план был серьезным, – но предложил, чтобы мы попытались совместить советский и американский проекты и попробовать преодолеть расхождения. Со всей очевидностью Добрынин получил некоторую свободу действий, но никогда бы не предложил переработку проектов по своей собственной инициативе.

15 марта мы встретились, чтобы обменяться новыми проектами. Добрынин передал мне сокращенный вариант своего проекта от 12 марта. В нем не было изменений в советской позиции, настаивающей на том, что соглашение по ПРО предшествует наступательным ограничениям. В нем отсутствовал принцип относительно того, что система ПРО будет ограничена двумя столицами. Наш вариант продолжал увязывать наступательные и оборонительные ограничения, что было моей главной целью.

Я встретился с Добрыниным на следующий день в попытке объединить два варианта. То, что получилось в результате, стало ближе к нашим принципиальным требованиям. Будут даны указания двум делегациям на переговорах по ОСВ для «немедленного» достижения соглашения по ПРО. А дополнено это будет замораживанием «стратегических наступательных вооружений», как МБР, так и БРПЛ. Модернизация и замена будут разрешены, но только оружием той же самой категории. Другими словами, советские тяжелые ракеты (СС-9), которые мы рассматривали как угрозу нашим размещенным на суше ракетным силам «Минитмен», будут заморожены на нынешнем уровне.

25 марта я направил Добрынину то, что на дипломатическом языке называют «устной нотой»[9 - Такая нота называется вербальной (от латинского *verbalis* – устно), она не имеет личной подписи и составляется в третьем лице. – Прим. перев.], – написанное, но не подписанное сообщение, статус которого приравнивается к высказанному слову и которое, таким образом, может быть легко дезавуировано. В нем излагалось наше мнение по необходимым

процедурам. Условия соглашения по ПРО и замораживания наступательных вооружений должны быть обсуждены на переговорах одновременно и завершены в одно и то же время. (Я оставлял характер ограничений в системе ПРО на усмотрение делегаций на переговорах.) Разрешенными уровнями стали бы количества вооружения в действии или в процессе производства на дату вступления в силу замораживания.

На следующий день, 26 марта, Добрынин принес советский ответ на наш проект от 16 марта, который в нем ни принимался, ни отвергался. Принцип замораживания стратегических наступательных вооружений был принят, но детали подлежали обсуждению после достижения соглашения об оборонительных вооружениях. В загадочном мире советской дипломатии, в которой любые уступки должны быть сделаны с минимумом любезности, это подразумевало компромисс: что соглашение будет обсуждено последовательно, но подписано одновременно. Этого мы не могли принять. Как только станет известно о существовании соглашения по ПРО, на нас станут оказывать непреодолимое давление в плане его подписания. А как только мы его подпишем, заморозка наступательных вооружений испарится. (Даже если мы и не подпишем его, конгресс никогда не проголосует за выделение средств на программу ПРО, так что идеальный исход, с советской точки зрения, было бы нереализуемое соглашение по ПРО, согласно которому Соединенные Штаты отказывались в одностороннем порядке от своих программ.)

Мы продвигались, но мучительно мелкими шагами. Я не оставлял сомнений в том, что мы будем настаивать на принципах ноты, врученной днем ранее. Добрынин дал понять, что его руководители не имели возможности изучить ее. К счастью, он вскоре будет в Москве для того, чтобы лично их проинформировать, поскольку его только что вновь вызвали на консультации. В стиле, к которому я уже стал приспосабливаться, Москва замедляла переговоры в дальнейшем простым устранением своего переговорщика.

Все это время официальные переговоры по договору ОСВ продолжались в Вене, добавляя дополнительные сложности, потому что наши участники переговоров были не в курсе специального канала связи. В конце марта Джерард Смит рассуждал по закрытому каналу со мной о том, что он зашел бы так далеко, насколько это было возможно, пока не получит полномочия включить системы передового базирования в обсуждения за столом переговоров. Пол Нитце, представляющий Министерство обороны, предложил, чтобы мы приняли запрет на ПРО в обмен на замораживание и, в конечном счете, на сокращение советских

тяжелых МБР (СС-9). Во внутреннем плане давление на нас продолжало нарастать с тем, чтобы мы приняли советское предложение об одной только программе ПРО. Журнал «Тайм», газета «Вашингтон пост» и сенатор Маски были в числе сторонников этой идеи. Сенатор Саймингтон сравнил программу ПРО «Сейфгард» с компанией, производящей парашюты, которая рекламирует так: «если он не сработает, отправьте его обратно, и мы вернем вам другой»[10 - «Сенат возобновляет дебаты по вопросу о ПРО». «Нью-Йорк таймс», 20 апреля 1971 года.]. Справедливости ради следует сказать, что наш секретный стиль переговоров сделал нас уязвимыми в плане этого давления. Наши критики не знали, что мы можем добиваться большего. С другой стороны, если бы они знали, то давили бы на нас, чтобы мы приняли текущие советские предложения, которые мы все еще пытались улучшить.

И действительно, поскольку общественные дебаты по наступательным вооружениям были сосредоточены на сдерживании только новых наступательных программ, которые имелись у нас, развертывание ракет с разделяющимися боеголовками (РГЧИН), Соединенные Штаты постоянно находились на грани того, что их могут заставить сдать, – до любого соглашения по ОСВ, – по двум системам стратегических вооружений, которые мы строили.

На счастье, 23 апреля Добрынин вернулся из Москвы и освободил нас от неприятностей. Он вручил мне ноту, в которой в преднамеренно холодном стиле советских переговорщиков принималось наше предложение о том, что ограничения наступательных вооружений могут быть обсуждены до завершения соглашения о ПРО. Это было хорошее определение одновременности, хотя и оформленное в виде присущего Громыко двойного отрицания. Мы достигли нашей первоочередной цели; Советы, однако, отозвали в типичной для них манере прежнюю уступку: соглашение должно зависеть от нашего принятия системы ПРО, привязанной только к национальным столицам. И, тем не менее, вновь политбюро разбазарило моральный капитал без какой-либо перспективы что-то заработать. Добрынин должен был бы знать, – даже если Громыко не очень-то хотел принять, – что ОНК был прошлогодней нежданной радостью. С другой стороны, Советы не пошли бы так далеко, если бы не хотели пройти оставшийся путь. 26 апреля в еще одной вербальной ноте я предложил выход из создавшегося положения, рекомендовав, чтобы решение о характере площадок, разрешенных в соглашении о ПРО, было вынесено на последующие переговоры. Однако эта нота предупреждала Советы о том, что американская позиция будет базироваться на системе, которую мы фактически создавали (то есть оборона ракетных площадок), а не каких-то гипотетических системах, сосредоточенных

на столицах. Добрынин не мог отказаться от получения очков в ведущемся споре, все-таки Советы принимали только наше прошлогоднее предложение о ПРО. Я признал эту слегка неудобную правду, но дал ясно понять, что мы не изменим свою позицию ни на йоту.

По мере нашего приближения к соглашению 2 мая дикий инцидент прервал наши усилия. Владимир Семенович Семенов, глава советской делегации на переговорах по ОСВ, неожиданно выдал Смиту во время частного обеда то самое предложение о соглашении по ПРО, ограниченной столицами, после замораживания МБР, обсуждение которого должно было быть проведено после заключения соглашения по ПРО, что было отвергнуто мной шесть недель назад. Другими словами, Семенов выдвинул старую советскую позицию после того, как Добрынин согласился на одновременное решение вопросов. Поскольку это выходило за пределы того, что Советы прежде согласились уступить в Вене, и Смит не мог знать, что ему предлагают то, что мы уже отвергли и улучшили, он посчитал, что находится на грани большого прорыва. Он потребовал принять предложение, – тем самым показывая, какой силы давление мы выдержали, если бы переговоры сохранялись только по официальным каналам. Вплоть до сегодняшнего дня я не понимаю, что Громыко рассчитывал сделать таким маневром. Вероятно, он не мог не поддаваться соблазну использовать нашу систему двойного канала и дал согласие на изучение пределов, насколько далеко могли бы зайти наши официальные переговоры. Не исключено, что он пытался проверить, мог ли президент твердо отстаивать программу, которую я выдвинул. Вполне вероятно, что он хотел предоставить Семенову возможность что-то предпринять, а Семенов, в свою очередь, захотел доказать, что он сумеет действовать лучше Добрынина. (Не следует полагать, что советская система более устойчива к бюрократической внутренней борьбе, чем наша; по всей вероятности, она более подвержена опасности заражения.)

Каковы бы ни были причины, но шаг Семенова, как и нараставшие сомнения относительно доброй воли Советов, фактически разрушили президентский канал. Этот шаг также дал старт официальному рассмотрению в рамках наших ведомств, что вскоре распространилось и на СМИ, и на конгресс, которые стали давить с целью принятия этого «компромисса». Я находился в Палм-Спрингс якобы на отдыхе, а на самом деле для подготовки к поездке в Китай. По этой причине я попросил Ала Хэйга вызвать Добрынина. У Добрынина не было никакого стоящего внимания объяснения. Он указал, что Семенов выдвинул «старое» предложение, как будто это могло каким-то образом оправдать этот маневр. Добрынин пообещал направить дела в контролируемое русло.

Несколько дней спустя – 9 мая – Семенов возобновил атаку, в качестве повода выбрав на этот раз организованную австрийским правительством поездку на судне, дабы продемонстрировать свою приверженность обходу секретного канала. Семенов отвел Смита в сторону и предложил сосредоточиться в «этом году» на достижении соглашения по ПРО, после которого состоятся интенсивные переговоры по наступательным вооружениям. Размещение МБР будет приостановлено «на какой-то период», пока идут эти переговоры. (Теперь он перешел от позиции шестинедельной давности к предпоследней позиции. Он по-прежнему настаивал на последовательных переговорах и продолжал исключать ракеты, запускаемые с подводных лодок.) Смит был настроен радостно-торжествующе в связи с новым явным «прорывом». Я оказался перед дилеммой. Я вряд ли мог сказать Смицу, что ему сбываются потерявшие товарный вид вещи, что предложение Семенова было отменено лучшим предложением в рамках канала, о котором он не имел представления. Самое лучшее, что я мог сделать, так это предложить Смицу вернуться в течение недели для рассмотрения сделанного предложения.

Тем временем, я решил попытаться закончить дела с Добрыниным. В делах с Советами непременно достигается некий момент, когда важно грубо дать понять, что уже достигнуты все пределы гибкости и что пришло время либо все урегулировать, либо прекратить переговоры. Это более сложное дело, чем просто проявить «твердость». Если подвести черту слишком рано, Советы фактически прервут переговоры. Если черта будет подведена слишком поздно, они, возможно, больше не поверят, что проблема была действительно серьезной. Успех на переговорах – это дело времени, и больше всего это важно в делах с Москвой.

То, что позже превратилось в преднамеренное приспособление, которое мы станем использовать больше одного раза, было вызвано создавшейся необходимостью – или советской неповоротливостью – в мае 1971 года. Как только Смит вернулся в Вашингтон, предложение Семенова стало предметом официального межведомственного рассмотрения. Оно выходило из-под контроля президентского канала. 11 мая у меня состоялся довольно резкий разговор с Добрыниным. Советы, как я ему сказал, наверное, считают, что могут играть сразу по нашим двум каналам, причем один против другого. И действительно, у нас вполне могли бы возникнуть трудности с тем, чтобы убедить ведомства, что Добрынин уже сделал уступку в том, что фактически было и без этого достижимо. Но он не должен сомневаться по поводу того, что рано или поздно воля президента и моя способность контролировать бюрократический механизм приведут дела туда, куда нам надо. Я сказал ему,

что ценой будет утрата доверия в серьезность неофициального прямого канала. Гнев президента по поводу того, что он может подразумевать только как умышленный маневр, направленный на то, чтобы лишить его доверия, будет небывалым. Я потребовал ответ на наше предложение от 26 апреля в течение 48 часов. В противном случае мы перенесем всю эту тему на переговоры по официальным каналам. Мы сделаем то же самое и с переговорами по Берлину. 12 мая Добрынин принес ответ. Советский Союз отказался настаивать на системе ОНК. Была принята одновременность переговоров по ограничению и наступательных, и оборонительных систем. К 15 мая мы согласились сделать объявление 29 мая и обговорили текст личных обменных писем между Никсоном и Косыгиным.

Этот успех вызвал мучения у Никсона, поскольку теперь ему приходилось сообщать своему государственному секретарю, что переговоры продолжались несколько месяцев без его ведома и были на грани завершения официальным соглашением. Его первым порывом было заявить, что неожиданный контакт с Советами неожиданно привел к прорыву. (Таким было объяснение, данное семь недель назад моей поездке в Пекин.) Я отсоветовал давать объяснения, которые не будут зафиксированы в записях и которые злонамеренные советские переговорщики могли бы использовать в своих интересах. Следующая идея Никсона была такова: предположить, что он написал Брежневу в январе и только что получил ответ. Это тоже я отсоветовал по практически тем же причинам. В конечном счете, Никсон выдержал неловкость, позволив Холдману раскрыть известие его старому другу. Позже свалившиеся на Холдмана поношения не должны были умалить ту стойкость, с какой он разруливал многие такие неблагоприятные и унижительные ситуации. Роджерс принял предложенное объяснение – несуществующее письмо Брежневу – с вызывающим уважением самообладанием.

Задачу проинформировать Джерри Смита оставили мне. Это не было приятным поручением. Какими бы ни были мои расхождения со взглядами Смита на политику, я уважал его профессионализм и преданность. Для него точно было бы болезненно оказаться исключенным из кульминационного процесса многих лет труда. Было бы слишком рассчитывать на то, что наш главный переговорщик согласится с тем, что переговоры по официальным каналам были всегда намного более длинными. Я сомневаюсь, смогли ли бы мы сохранить нашу окончательную позицию, будучи лицом к лицу с давлением со стороны общественности, заставляющей нас уступать. Я показал Смиту все обмены с Советами и записи моих бесед. Смит вел себя вежливо и сдержанно. Хотя он позже в частном порядке выразил понятную горечь, когда такое поведение могло умалить первое

крупное достижение Администрации Никсона в отношениях между Востоком и Западом, он поставил национальное единство на первое место, в ущерб своим личным чувствам.

В полдень 20 мая 1971 года Никсон вышел к пресс-корпусу, аккредитованному при Белом доме, и выдал то, что стало первым из многих сюрпризов того года. Он зачитал текст объявления, сухие (и несколько запутанные) слова которого вряд ли воздавали должное трудной работе предыдущих шести месяцев и его подлинному значению:

«Правительства Соединенных Штатов и Советского Союза, рассмотрев ход своих переговоров об ограничении стратегических вооружений, согласились сосредоточиться в этом году на выработке соглашения по ограничению размещения противоракетных систем (ПРО). Они также согласились, что одновременно с заключением соглашения об ограничении систем ПРО они договорятся об определенных мерах в отношении ограничения наступательных стратегических вооружений».

Но ничему не суждено было идти гладко на этих переговорах с Советами. Едва только было опубликовано согласованное заявление, как меня проинформировали о том, что советское агентство новостей ТАСС опубликовало иную версию, подразумевающую, что обсуждение наступательных ограничений пройдет «после» вместо «одновременно с» соглашением по ПРО. Другими словами, мы столкнулись с попыткой провести через нас прежнюю советскую позицию в форме пресс-релиза. Когда я привлек к этому внимание Добрынина, он, запинаясь, заявил, что ТАСС сделало свой собственный перевод с русского текста (необычное объяснение, с учетом того, что изначальное заявление обсуждалось на английском языке). К сожалению, как утверждал Добрынин, сейчас слишком поздно связываться с Москвой из-за разницы во времени. Я сказал ему, что проведу брифинг по вопросу об объявлении через два часа. Я либо затрону тему советского двуличия, либо представлю согласованный текст как первый важный шаг в направлении улучшения отношений. Выбирать предстоит ему. Гениальным решением посла было получить правильный текст на английском языке, отпечатанный на машинке советского посольства. Он оказался под рукой вовремя для специалистов по кризису доверия, которые уже готовили свою тяжелую артиллерию. Это, возможно, было в первый раз, когда пресс-релиз на советском бланке распространялся из пресс-центра Белого дома.

Прорыв 20 мая внешне носил процедурный характер. Он решал, что наступательные и оборонительные ограничения будут заключаться одновременно[11 - Некоторые эксперты по контролю над вооружениями в научных кругах (см. сноску ниже) продолжали считать, что президент принял советское предложение; они хвалили Никсона за согласие с заключением одного только соглашения по ПРО, когда он делал совершенно противоположное.],[12 - «Эксперты по контролю над вооружениями из Гарварда и Массачусетского технологического института довольны шагом Никсона на переговорах». «Нью-Йорк таймс», 27 мая 1971 года.]. Но за соглашением скрывалось нечто большее, чем в словах, которые объявили о нем. Первым делом мы раскрыли перед политбюро суть нашей позиции по переговорам по ОСВ. Соглашение по ОСВ 1972 года подтвердило то, что подразумевало понимание мая 1971 года: Советы фактически приняли замораживание новых стартов стратегических ракет; они согласились осуществить промежуточные ограничения тяжелых ракет; фактически отказались от своего утверждения о том, что необходимо учитывать количество наших самолетов, размещенных за пределами страны. А мы поставили их в известность о том, что запускаемые с подводных лодок ракеты должны быть ограничены или учтены. В дополнение к этому нам удалось обойти наше прошлогоднее опрометчивое предложение по ОНК. Короче говоря, окончательное соглашение, согласованное на переговорах год спустя, отражало по своим базовым параметрам обмена, приведшие к объявлению 20 мая.

Долгое время спустя после подписания соглашений об ОСВ в мае 1972 года стало модно критиковать их якобы «неравенство». Правда, что замораживание сохраняло в течение пяти лет количественный разрыв между советскими и американскими ракетами, который образовался в предшествующее десятилетие. Но в результате решений наших предшественников не существовало ни одной американской программы, которая могла бы в любом случае создавать новые ракеты, по крайней мере, на протяжении пяти лет. Мел Лэйрд указывал на заседании СНБ на то, что самой ранней датой появления запланированных нами новых подводных лодок был 1977 год. Как оказалось, это был излишне оптимистичный прогноз, с опозданием, по крайней мере, на два года. В промежутке администрация отстаивала разработку новых программ – «Трайдент», В-1, «Минитмен-3», ПРО и РГЧИН – перед лицом активной и голосистой оппозиции в конгрессе. Замораживание в количественном выражении, таким образом, не привело к прекращению никаких американских программ. В действительности приостановлены были продолжавшиеся советские программы, предусматривавшие размещение более 200 МБР и БРПЛ ежегодно. В обмен на это мы приняли ограничение по системе ПРО, что было нашей козырной картой на переговорах и что наш конгресс был почти готов

зарубить так или иначе.

То, что мы этого добились, несмотря на очевидные слабые переговорные позиции, – мы, в конце концов, были не в состоянии утверждать с уверенностью, что можем быстро все нарастить, если соглашение не получилось бы, – объясняется несколькими факторами. Советское руководство предпочло не использовать внутреннее давление, вызванное Вьетнамской войной; оно пришло к такому решению не из этакой благотворительности, а в силу признания, что наш специальный канал мог предоставить ему единственный шанс для фундаментального соглашения в течение первого срока президентства Никсона. И эти руководители с опаской относились к тому, что считалось «непредсказуемостью» Никсона, – что на самом деле было его способом проталкивать какой-либо вопрос, – и не хотели делать ставку на очевидные внутренние неурядицы, непрочную основу которых в Америке Добрынин, например, понимал лучше, чем кто-либо из наших критиков.

Важнее было то, что Советы не могли рисковать, создавая кризис в отношениях с нами, если хотели заключения Берлинского соглашения или ратификации договоров с ФРГ. Эта увязка никогда не афишировалась, но со всей очевидностью отражалась на ходе наших переговоров. (К примеру, в течение недели, когда Семенов совершил свою бестактность, я попросил Раша отложить встречу с советским послом в Бонне под каким-либо предлогом на две недели.) И не было никакой вероятности того, что западногерманский парламент ратифицировал бы восточные договора Брандта в условиях продолжения «холодной войны». У нас были собственные основания для осложнения напряженности в отношениях между Востоком и Западом, но мы были готовы идти на риск создания такой перспективы в надежде на соглашение по ОСВ, которое мы считали отвечающим потребностям нашей безопасности.

Во внутреннем плане соглашение от 20 мая дало нам некоторую передышку. На короткое время утихли критики, утверждавшие о недостаточной приверженности администрации делу мира; передышка приостановила дебаты по вопросам обороны на весь оставшийся срок пребывания Никсона на своем посту. Как только стало ясно, что ОСВ, вполне вероятно, завершится успехом, давление с целью установления различного рода мораториев пошло на убыль. ПРО оставалась в зачаточном состоянии, но это было неизбежно в течение года. И действительно, мы заработали на ней больше, чем могли бы предположить, после того как сенатский комитет по вооруженным силам в мае 1971 года проголосовал за ограничение размещения системы двумя площадками даже при

отсутствии соглашения по ОСВ.

Внутри самого правительства соглашение от 20 мая к тому же стало вехой, подтверждавшей доминирование Белого дома во внешнеполитических делах. В течение первых двух лет контроль Белого дома сводился к формированию политики, теперь он распространялся и на ее реализацию. Одновременно шли переговоры по трем важным инициативам, о которых обычный бюрократический аппарат даже не был в курсе дела: соглашение по ОСВ от 20 мая, переговоры по Берлину и открытие Китаю. Я уже указывал, что не считаю, что этот алгоритм поведения непременно должен быть закреплен в правовом плане. Но следует также подчеркнуть, что ведомства мало что делали для того, чтобы вызвать доверие к себе со стороны президента. Их стремление воспользоваться отсутствием особого желания со стороны Никсона включаться в прямую конфронтацию заставляло его ввязываться в бесконечную партизанскую войну, чтобы обойти собственных подчиненных, которых он никогда не рассматривал как своих. Что предшествовало чему – подозрительность на протяжении всей жизни Никсона или недоверие к нему у правительства, укомплектованного оппозицией на протяжении предшествующих десятилетий, – это вопрос, сравнимый с извечным вопросом о курице и яйце. Никсон, – которому я помогал, – нашел свой собственный метод решения проблем. Он, несомненно, подрывал ведомственную мораль. Для отдельных представителей, таких как Смит, это было несправедливо и унижительно. Это действовало на нервы сотрудникам СНБ, у которых была одна-единственная обязанность оказывать всяческое содействие проводимым одновременно трем важным переговорам в разгар лаосской операции. Много энергии потребовалось и для обслуживания дублирующих каналов. Но Никсон считал, что при его убеждениях и его личности и таких подчиненных он не мог добиться результатов каким-то иным путем.

Что касается понимания от 20 мая, то у президента были все причины беспокоиться о том, что по обычным каналам потребовались бы месяцы, а наши ведомства тем временем спорили бы по поводу трех вариантов ПРО и нескольких опций замораживания, а также позволили бы утечку своих любимых схем для того, чтобы предопределить их решение. Советы постоянно продавливали бы соглашение по одной только системе ПРО и успешно мобилизовали бы мощное давление на нас со стороны СМИ, научных кругов и конгресса с тем, чтобы мы приняли его. Фактическая увязка переговоров по Берлину и ОСВ со всей очевидностью была бы потеряна в случае отсутствия возможности точной отладки шагов двух совершенно разных бюрократических аппаратов, каждый из которых был убежден в том, что его задача достаточно

трудная и заслуживает по существу оправданного самостоятельного процесса.

Соглашение от 20 мая также сыграло не очень существенную роль в наших китайских инициативах. Оно продемонстрировало Пекину, что у нас есть подход к Москве, в то же время у нас есть и возможность показать, что мы понимаем главные китайские озабоченности. Мы использовали пакистанский канал для того, чтобы проинформировать китайских руководителей относительно нашего решения и мотивов его принятия, давая тем самым понять, что отвергаем все устремления в плане установления кондоминиума. Соглашение от 20 мая, в конечном счете, стало первыми состоявшимися американо-советскими переговорами на президентском уровне – предшественником многих других в предстоящие годы. Два ядерных гиганта начали делать пробные осторожные шаги – при многих падениях и подъемах – в направлении определения нескольких основных правил сосуществования.

## Берлинские переговоры

Переговоры с Советским Союзом по Берлину также велись по двум, секретному и официальному, каналам, но Берлин превзошел даже ОСВ по своей запутанности и непонятной лексике. Если на переговорах об ОСВ мы полностью сами контролировали свою позицию, то по Берлину мы должны были иметь дело не только с Советским Союзом, но также поддерживать партнерство с Великобританией и Францией как с оккупационными державами, с Федеративной Республикой Германия как с самым заинтересованным союзником, а также с западноберлинским правительством. Последнее, в конце концов, представляло людей, возможность которых жить свободно ставилась на карту. Более того, переговоры за годы обросли налетом многолетних споров по поводу юридических терминов. Чуть ли не каждая тема обсуждений, от точной формы штампа на пропуске до правового статуса всего города, оспаривалась в перебранке с Советами в 1950-е и 1960-е годы. Любая инициатива должна была состязаться с длинным наследием накопившихся юридических формулировок; нужно было обойти проволочки, чинимые главным советским переговорщиком Петром Андреевичем Абрахимовым, советским послом в Восточной Германии, который был не дипломатом, а функционером Коммунистической партии, весь опыт которого ограничивался делами с восточными европейцами. Он был слишком безапелляционным и жестким даже по советским меркам. И никак не мог принять того, что не может выдать указания западным переговорщикам.

Западные переговорные позиции были в основном неблагоприятными. Дорожная, железнодорожная и воздушная связь с Западным Берлином могла легко стать объектом посягательства со стороны Советов и восточных немцев, прекращения доступа могли быть настолько обиденными, что к ним трудно было придраться, и, тем не менее, по своему совокупному воздействию они очень сильно угрожали бы свободе Берлина. Западным берлинцам запрещалось посещать Восточный Берлин. Отсутствовала телефонная связь. Железнодорожное и дорожное обслуживание для гражданских лиц контролировалось Восточной Германией, которую мы даже не признавали в то время. В техническом плане военное движение проходило через контролируемые Советами пункты пропуска, но даже это было фикцией, поскольку на самом деле восточногерманские часовые контролировали ворота, в то время как советский офицер отдыхал в закусочной по соседству на случай возникновения какого-либо спора.

«Западные сектора» – термин, всегда используемый союзниками для подчеркивания, что Берлин по-прежнему является единым городом, находящимся под оккупацией четырех держав, – в экономическом плане находились на содержании Западной Германии. И действительно, ФРГ сделала особое усилие как при правительстве христианских демократов, так и при правительстве социал-демократов в Бонне для того, чтобы установить политическое, а также и экономическое присутствие в Берлине. Эти усилия были поддержаны и поощрялись тремя западными державами. Тем не менее, для поддержания оккупационного статуса, который являлся единственной юридической основой требовать ответа от Советов по Берлину, который три западные державы никогда не признавали, а ФРГ никогда не утверждала, что Западный Берлин является ее частью. Поэтому в интересах Соединенных Штатов было установить советские правовые обязательства, которые позволили бы добиться более нормализованного доступа в Западный Берлин и между Западным и Восточным Берлином, разделенными на протяжении десяти лет Стеной друг от друга.

В течение десяти лет уязвимость Берлина рассматривалась Советами как возможность ее эксплуатации, но не как стимул к урегулированию. Мы в 1971 году столкнулись с озабоченностью Москвы и желанием заполучить ратификацию восточных договоров Брандта. В силу того, что восточной политике был присущ односторонний характер ощутимых преимуществ, – в конце концов, Бонн принимает раскол страны в ответ на всего лишь улучшение в политической атмосфере, – благоприятное соглашение по Берлину должно было предоставить одно в обмен на другое. В силу этого Москва оказывалась в

парадоксальной ситуации, когда ее просили сделать уступки, не оправданные местным балансом сил, ради достижения целей по другим важным для нее делам. То был классический случай увязки. Практическим последствием такой увязки, однако, было то, что в процессе мы оказались ответственными за конечный успех политики Брандта.

Подлежали урегулированию два важных вопроса:

- западные державы хотели получить советские (а не восточногерманские) гарантии того, что их доступ в Берлин будет носить льготный характер и не будет иметь никаких препятствий;
- Федеративная Республика Германия хотела, чтобы Советы признали важные политические связи между нею и Берлином для того, чтобы снять традиционные предлоги коммунистического давления на Западный Берлин.

Советский Союз начал четырехсторонние переговоры с нападком на эти оба вопроса с традиционным акцентом на нюансы; выдвинул свою позицию-максимум с тактикой кувалды. В том, что касается доступа, Советы отрицали какую-либо свою причастность; они настаивали на том, что маршруты, пересекающие Восточную Германию, не входят в сферу их контроля или влияния. Это вопрос обсуждения между двумя Германиями. Если Советы как одна из оккупационных держав не несет никакой ответственности, тогда, согласно советскому подходу, ее не несут и западные союзники. Доступ гражданских в Берлин, таким образом, становится сугубо внутригерманским делом. Любой кризис должен быть разрешен как внутригерманское дело.

Что же касается «федерального присутствия» – советская позиция была сама простота. Советы потребовали ни много ни мало как полного уничтожения каких бы то ни было признаков «незаконной» активности Бонна в городе, по поводу чего они представили целый перечень нарушений. В присущей ему манере Абрахимов потребовал, чтобы вопрос о федеральном присутствии был урегулирован первым, только после этого будет обсуждаться вопрос о доступе. Как представляется, Советы хотели использовать переговоры, чтобы превратить Западный Берлин в «свободный город», давление по этому поводу вызвало крупный кризис в 1958–1959 годах, а затем снова в 1961 году. Это был повтор их

тактики с ОСВ, в соответствии с которой Советы также хотели разрешить вопрос огромнейшей важности для Москвы – ПРО – до перехода к делам, на которых настаивали мы. Какой смысл Советы вкладывали, выдвигая предложение, принятия которого Брандт не смог бы пережить, навсегда осталось загадкой.

Очередной шаг, который Советы попытались сделать, когда я оказался лично вовлечен в дела в феврале 1971 года, состоял в виде попытки обойти согласование в рамках четырех держав. Восточногерманский чиновник Михаэль Коль появился в Бонне для переговоров о нормализации отношений между Восточной Германией и ФРГ. Я установил секретный канал через представителя ВМС, о чем было сказано ранее, чтобы держать Бара из ФРГ, нашего посла Кена Раша и меня на связи друг с другом. И я использовал этот канал на первых порах для того, чтобы предупредить Бара, чтобы он не поддавался искушению и не позволил Советам использовать его при проведении обманного маневра на всегерманском форуме.

Мой следующий шаг состоял в том, чтобы обсудить 10 февраля с Добрыниным проект предложения, выдвинутый западными державами на четырехсторонних переговорах 5 февраля. В нем подчеркивался беспрепятственный доступ, подкрепленный советскими гарантиями. В том, что касается федерального присутствия, проект предлагал, что конституционные органы, такие как парламент, избирающий президента, больше не будут встречаться в Берлине и что западногерманские министерства будут представлены одним представителем ФРГ в Берлине. Это была не такая уж большая уступка, поскольку представительства оставались бы, а этот институт помогал Советам сохранить свое лицо и с ним они могли иметь дело. Все, что отдельно не прописано, считалось бы разрешенным.

Кен Раш был центром всего этого дела. Он информировал меня на предмет моих переговоров с Добрыниным; поддерживал тесные отношения с другими западными союзниками с тем, чтобы позиции союзников оставались совместимыми; он также должен был сдерживать склонность Бара к односторонним усилиям и попытку представить себя перед Советами единственным, кто идет на уступки. И Рашу необходимо было все это совершать, не ставя в известность собственный Государственный департамент. Это был весьма странный способ руководить правительством. Чудо состоит в том, что все работало, по большому счету, благодаря умению Раша не терять присутствия духа.

Добрынин начал с того, что стал настаивать на регулировании процедуры доступа двумя Германиями, а потом неожиданно откопал компромисс: Советы выразят свою ответственность за доступ в форме односторонней декларации по поводу того, какой, по их пониманию, будет восточногерманская точка зрения. Это заявление затем будет вставлено в общую гарантию всего соглашения. Я должен был признать, что прозвучало это как вполне отличная возможность, поскольку представляло собой фактически точный западный запасной вариант, который уже обсуждался по официальным каналам. (Мне даже показалось, что в ответ на мое принятие советского компромисса, что фактически случилось на встрече 10 февраля, Советы приняли нашу отступную позицию, которая была передана Москве из какого-то иного источника.)

Когда я уведомил Бара и Раша о моем разговоре с Добрыниным, они оба подтвердили, что такая гарантия была бы приемлема для западных союзников при условии, что процедуры доступа, которые получали такие гарантии, были достаточно детализированы для улучшения жизнеспособности Берлина. Добрынин прореагировал 22 февраля предложением ко мне внести подробный комплект процедур доступа. Это довело Бара и Раша до безумия в работе над выработкой проекта, что было осложнено частыми искажениями при передаче длинных текстов, которые в виде телеграмм переправлялись мне по нашему секретному каналу. Их проект представлял собой некий сплав различных позиций союзников и в силу этого был бы, по всей вероятности, приемлем на форумах с участием союзников. 26 февраля я передал этот документ Добрынину.

15 марта Добрынин возобновил свой призыв к дальнейшим западным уступкам по федеральному присутствию в Берлине. Я сказал, что мы не можем выйти за рамки согласованной с союзниками позиции, переданной в феврале. О готовности Советов к прогрессу свидетельствовало то, что Добрынин немедленно предложил компромисс: какое-то советское присутствие в Западном Берлине – например, консульство – в ответ на советские гарантии доступа. Это представлялось согласием с федеральным присутствием, выдвинутым союзниками 5 февраля.

Ничто не работает так просто в советской системе. К 18 марта Москва передумала, или некий элемент в советской бюрократии потребовал подтверждения, что больше ничего не будет предоставлено. Добрынин вручил мне полный детальный советский проект соглашения по Берлину, в котором на самом деле была отозвана большая часть уступок, сделанных в течение предыдущего месяца. Он попросил меня высказать мое мнение перед тем, как

Москва предложит этот текст на четырехсторонние переговоры 26 марта. Было просто невозможно разобраться со всеми этими не доступными пониманию юридическими вопросами в большом документе за такое короткое время. С другой стороны, официальная передача четверке не имела такого уж решающего значения; главное значение этого проекта состояло в том, чтобы четырехсторонние переговоры продолжались.

После консультаций с Рашем и Баром я ответил Добрынину 22 марта. Я был не в состоянии предложить встречный проект, да и не хотел втягиваться в детальные переговоры по советскому документу, который приведет к тому, что переговоры будут вестись о наших уступках. Для того чтобы побудить Советы встать на нашу точку зрения, – что, как я полагал, они сделали бы, – я выдвинул после консультаций с Рашем ряд общих принципов. Во-первых, любое соглашение должно подтверждать связи Берлина с Федеративной Республикой Германия и советское признание власти западных держав в Западном Берлине. Во-вторых, в положениях документа в части доступа должна быть заложена прочная гарантия со стороны Советского Союза о том, что доступ в Берлин по земле, как гражданских лиц, так и военных, должен осуществляться беспрепятственно. В-третьих, должно иметь место советское обязательство относительно улучшений в доступе между двумя частями города. В-четвертых, соглашение должно обозначить, что формой представительства Западного Берлина за рубежом будет ответственность трех держав – это было равнозначно положению о том, что Западной Германии будет разрешено представлять Берлин, поскольку западные державы делегируют свои полномочия Бонну. И, в-пятых, любое понимание относительно советского официального присутствия в Западном Берлине должно достигаться вне рамок четырехстороннего соглашения. Это было сделано для того, чтобы не допустить отмены Советским Союзом положений относительно доступа под предлогом, что были созданы помехи для выполнения консульских функций в Западном Берлине. Я вручил Добрынину памятную записку, излагающую в довольно подробной форме практическое значение этих взглядов.

Добрынин и я пришли к мысли относительно закрытых переговоров между Абрагимовым и Рашем. Это была одна из тех идей, которые было легче задумать, чем осуществить на практике. Абрагимов был в Восточном Берлине, Раш – в Бонне. Они встречались только на четырехсторонних встречах. Для любого из них вступить в контакт с другим означало оказаться заметным для средств массовой информации в связи с пересечением пунктов пропуска вдоль стены. И для них встреча в закрытом режиме, даже на полях четырехсторонних заседаний, вызвала бы вопросы со стороны других послов – не говоря уже о

необходимости сообщить по официальным каналам в Государственный департамент, тем самым вызвав требование Вашингтона относительно полного отчета о происходящем.

Мы полагали, что мы преодолели все трудности, и назначили встречу на 25 марта. П. А. Абрасимов либо не понимал взаимных обязательств по двухканальной системе и их значения, либо желал попридержать канал с участием Добрынина (или и то, и другое вместе), зато это сделал В. С. Семенов. Он выступил с предложением о закрытой встрече с Рашем по головным каналам, вызвав массу разных домыслов в Вашингтоне. Затем он так же таинственно отменил свою просьбу. Его встреча с Рашем была переназначена на следующий раунд четырехсторонней встречи 16 апреля. Абрасимов в этот раз возложил вину за неудачу на то, что Раш покинул встречу раньше времени. Это была явная отговорка, поскольку Раш предупредил всех о том, что должен устроить обед для Бостонского эстрадного оркестра в Бонне в тот вечер. Всегда происходило нечто, лежащее на глубине, может быть, это было соперничество между советским Министерством иностранных дел (которое представлял Добрынин) и партийным аппаратом (представленным Абрасимовым). Или, более того, Громыко посчитал, что его мартовский проект потерпел поражение и никогда не послужит основой для переговоров, и он выбрал этот путь для его отзыва. Вполне и вполне вероятно, что Советы не доверяли одному каналу Абрасимов – Раш и хотели найти такой форум, который включал бы и Бара, которому они, конечно, доверяли. Какова бы ни была причина, но когда я предложил Добрынину 23 апреля, чтобы советский посол в Бонне Валентин Михайлович Фалин заменил бы Абрасимова, он охотно с этим согласился. В Бонне Фалин, Раш и Бар могли встретиться, не привлекая к себе внимания. С точки зрения Громыко, это, возможно, давало дополнительные преимущества сохранения всего в рамках мидовских каналов.

Стало очевидно, что мне снова нужно встретиться с Эгоном Баром. В очередной раз нам нужно было найти место, которое оправдывало бы нашу совместную встречу. Мы выбрали Бильдербергскую конференцию, неформальное ежегодное мероприятие европейских и американских политических лидеров и ведущих бизнесменов, которая была запланирована на 24–25 апреля в Вермонте. Там, в лесной местности, – в окружении пикетов левацких группировок, которые подозревали таких радикальных спонсоров, как Дэвид Рокфеллер и Джек Хайнц, в том, что они продают Америку теневому интернационализму, – Бар и я рассмотрели ход переговоров. Он сделал гениальное предложение: чтобы обе стороны отказались от юридического подтверждения своих позиций и вместо этого стали бы работать над описанием своих обязанностей и обязательств. Я

согласился, оговорив необходимость обсуждения этого с Рашем, при условии, что процедуры доступа будут сформулированы самым подробным образом, чтобы исключить в дальнейшем какое-то недопонимание.

Я проверил подход Бара на Добрынине в понедельник 26 апреля. Он принял с готовностью, которая позволяла предположить, что он слышит его не в первый раз. Я не знал ни одного советского дипломата, – включая Громыко, – который принял бы новое важное предложение без отправки его в Москву. Не всегда было достаточно ясно, сколько каналов задействовано на самом деле и кто был главным переговорщиком. Я был уверен в том, что у Бара есть полномочия, настаивая на том, чтобы Раш попросил личного одобрения Брандтом как процедуры, так и содержания документа. Он получил это 30 апреля.

3 мая явно под советским нажимом ярый сталинист Вальтер Ульбрихт был заменен в качестве партийного лидера в Восточной Германии Эрихом Хонеккером якобы по состоянию здоровья. О Хонеккере говорили как о более гибком человеке, – признавая, что в коммунистической Восточной Германии это было крайне относительным понятием.

Фалин, Бар и Раш встретились в первый раз 10 мая. После этого центр внимания переговоров по закрытым каналам сместился на их встречи, а я и Добрынин преодолевали любые возникавшие тупики. Каждый из трех главных участников переговоров сообщал обо всех отдельных разговорах с кем-то из тройки другому (по крайней мере, в теории), что было единственным средством предотвращения хаоса. Огромное количество телеграмм зачастую перегружало канал спецсвязи. ВМС взяли на себя больше, чем ожидали, когда соглашались быть в качестве связников. Это себя оправдало.

10 мая Фалин, Раш и Бар встретились снова. Следуя моим указаниям и собственным убеждениям, Раш выказал сопротивление давлению со стороны Бара, направленному на то, чтобы передать детальные предложения по процедурам доступа и федеральному присутствию без согласования с остальными союзниками. Раш настаивал на предварительном проведении встречи с рабочей группой западных оккупационных держав. Мы рассчитывали, что они одобряют новый подход в принципе; мы не предвидели никаких трудностей в получении их согласия на детальную процедуру доступа, особенно если они были выдвинуты Бонном. Бар выступил против того, чтобы все это делать в присутствии Фалина, настаивая на немедленном вручении предварительных предложений. Раш вновь поступил мудро и проявил упорство.

В итоге рабочая группа выступила с новым подходом, который был представлен как плановый документ, а не документ к переговорам.

Имелась еще одна недельная отсрочка, когда Раш по моему указанию отложил запланированную на 19 мая встречу в ответ на поведение Семенова, пытавшегося обойти наш канал во время переговоров по ОСВ. После прорыва в области ОСВ 20 мая я дал возможность этому процессу продолжаться. Фалин 4 июня последовал обычной советской переговорной технике отхода от того, что он уступил 27 и 28 мая, чтобы всего лишь 6 июня снова все восстановить. Остальная часть июня ушла у Раша, Бара и Фалина на составление проекта этих невероятно сложных, взаимосвязанных друг с другом документов, которые и составляли итоговое соглашение по Берлину. Каждая из этих встреч заканчивалась соглашениями, которые я просматривал от имени президента, и некоторыми спорными моментами, которые я разбирал с Добрыниным. На этой стадии главным усилием с советской стороны была попытка ограничить значение ее гарантий доступа вставками оговорок и уточнений типа «в пределах их зоны компетентности» или туманными ссылками на «каноны международного права». Это давало бы им возможность позже спорить о том, что представляет собой их зона компетентности или какое положение международного права было бы применимо к процедурам доступа через суверенную территорию.

Затор неожиданно рухнул, потому что берлинские переговоры превратились в одну из тех возможностей, по поводу которых Громыко, казалось, почти охватила паника из-за мысли, что как бы они не завершились неудачей, когда подавали все признаки успеха. Он решил пошантажировать нас и заставить пойти на скорейшее заключение, обусловив окончательное согласие на встречу на высшем уровне заключением Берлинского соглашения. Случилось ли это по той причине, что он действительно был обеспокоен, или просто хотел заполучить какие-то дополнительные бонусы в Кремле за снайперскую меткость, последствия оказались совершенно противоположными его намерениям. Как только стало очевидно, что в сентябре никакого саммита не будет, я постарался отложить заключение Берлинского соглашения на время после объявления о моем визите в Пекин. Это сняло бы все советские попытки использовать открытие Китая в качестве предлога для начала нового раунда кризисов. У меня все завершилось успешно, но с некоторыми трудностями. Даже Раш, как и все переговорщики, был настолько охвачен перспективой заключения соглашения, что с большой неохотой встретил затягивание (не зная, разумеется, его причин). И поскольку западные союзники заметили ослабление советской позиции на официальных четырехсторонних заседаниях, они тоже давили с целью скорейшего заключения.

7 июля посол Фалин вернулся из Москвы, где он находился для консультаций, и сказал Бару и Рашу с бесстрастным лицом, что, к его удивлению, Громыко одобрил все уступки, сделанные в июне. Ему не понадобилось обращаться к Косыгину и Брежневу через голову Громыко. Даже такие скептики, как я, мозг которых и представить себе не мог лица Громыко, узнавшего о месячной квоте важных уступок, сделанных впервые его подчиненным, который к тому же еще угрожал предпринять какие-то шаги за его спиной в случае необходимости, не могли сомневаться в том, что Советы имели в виду достичь скорейшего заключения соглашения по Берлину.

Раш получил еще одно совершенно непонятное указание от меня: отложить окончательный раунд переговоров на период после 15 июля. Когда о моей поездке в Пекин было объявлено, Бар проинформировал меня о том, что русские в Бонне реагировали весьма эмоционально, но что они, тем не менее, будут продолжать переговоры по Берлину. Это не было одолжением, просто им намного нужнее было Берлинское соглашение, чем нам. Но это оказалось очень полезной информацией, которая показывала, что опасения наших кремленологов по поводу того, что открытие Пекину испортит наши отношения с Москвой, неверны. События подтвердили этот изначальный вывод, так как через девять дней после того, как я дал указание Рашу продолжать работу, он и Бар урегулировали последний спорный вопрос.

Советы смирились с распространением консульской защиты со стороны ФРГ в отношении жителей Западного Берлина и правом западных берлинцев путешествовать с западногерманскими паспортами. В ответ мы согласились с инструментом, нужным исключительно для спасения лица, пойдя на открытие советского консульства в Западном Берлине. Оно не помогло советской теории разделения Западного Берлина от ФРГ, поскольку советские консульства существовали в западногерманских городах. (За почти десять лет действия Берлинского соглашения советское консульство в Западном Берлине не играло никакой важной роли.)

В конце дня Раш с оправданной гордостью сообщил по закрытому каналу связи: «Направляется проект предварительного соглашения, мне все еще трудно поверить, что он по-прежнему приемлем для нас. Проект подлежит окончательному одобрению Вами, Громыко и Брандтом соответственно. ...Мы получили вчера от Фалина практически все, что мы хотели». И он был прав. Если раньше полностью отсутствовала правовая основа доступа, то теперь процедуры доступа были прописаны в мельчайших деталях, вплоть до таких

технических аспектов, как использование запечатанных контейнеров для промышленных товаров. Если раньше Советский Союз умывал руки в связи с доступом в Берлин, утверждая, что это является суверенной обязанностью восточных немцев, то теперь он давал гарантии доступа. Федеральное присутствие в Западном Берлине несколько сократилось – особенно в плане деятельности, которую союзники никогда и не признавали, в частности, происходящие каждые четыре года выборы федерального президента. Но Советский Союз признал в принципе, что связи между ФРГ и Берлином могут «поддерживаться и развиваться», – тем самым создавая правовую основу укрепления экономических и культурных связей между Бонном и Берлином. Соглашение давало право Западной Германии представлять Берлин в международных соглашениях или органах и позволяло берлинцам путешествовать по западногерманским паспортам. Текст проекта в значительной степени соответствовал целям, установленным проектом четырех держав, выдвинутым 5 февраля, фактически повторяя его в основных своих положениях.

Но заключение соглашения в секретном порядке между нами, ФРГ и Советами усугубляло бюрократическую проблему, вызванную наличием нашей системы двух каналов. Так или иначе, но мы должны были проследить, чтобы наш собственный Государственный департамент не осложнил все дела. Более того, соглашение должно быть ратифицировано на четырехстороннем форуме, в котором участвуют дипломаты, тонко чувствующие свои прерогативы представителей оккупирующих держав. Кроме того, скорость, с какой «переговоры» неожиданно продвинулись, была непонятна для тех, кто в течение десятилетия мирился с тупиковыми ситуациями. Проблема не была непреодолимой, поскольку многие элементы согласованного проекта были почерпнуты из плановых документов рабочей группы, но и это не было обычным. Раш и Абрасимов сумели выдвинуть не противоречащие друг другу положения, в то время как Бар предложил более трудные положения при нашей поддержке. Пока все шло хорошо. Но как только официальные четырехсторонние переговоры возобновились 10 августа, они уже шли под прямым руководством бюрократического аппарата, который был полон решимости подтвердить свой характер. Неожиданно Раш получил указания по каналам Государственного департамента, приказывающие ему по-иному изложить разделы, которые уже были согласованы по закрытым каналам. Изменения не носили принципиального характера, но все-таки они вызвали опасения у Бара относительно того, что мы, дескать, делаем все, чтобы нас обвиняли в том, что нам нельзя доверять. Я, в свою очередь, пожаловался Добрынину по поводу грубого поведения Абрасимова, особенно в отношении английского посла, который заводился с

полоборота. 18–19 августа, казалось, проблемы были окончательно преодолены. Полное согласие союзников было достигнуто. Раш отправил торжествующую телеграмму по закрытому каналу, утверждая, что планы бюрократов «были сорваны»[13 - Я сознаю, что описываю сложные многосторонние переговоры с позиции единственного участника, что, вероятно, не дает полного представления. Я не знаю, какие двусторонние контакты проходили между другими участниками, вклад которых, возможно, равнялся или превосходил то, что я здесь описываю. К примеру, когда Жан Сованарг, французский представитель на этих переговорах, стал моим коллегой и другом в качестве министра иностранных дел, он несколько раз ссылаясь на главный вклад, который он внес, а Сованарг не склонен к хвастовству, но для меня остаются загадкой его комментарии. Я не стал вдаваться в разъяснения, так как не был готов отвечать взаимностью. Вполне вероятно, что имели место и другие контакты с советскими представителями. Нам надо подождать мемуары других участников.].

Истина заключалась в том, что они просто пробудились и стали что-то понимать. В третий раз за три месяца переговоры были завершены, и в них не принимали участия представители обычной бюрократии, а фактически были даже не в курсе их существования. Нет такого соглашения, которое не могли бы довести до краха профессионалы, не участвовавшие в переговорах по нему. Немецкий отдел Государственного департамента не пошел так далеко; в конце концов, английский и французский послы приняли текст соглашения. Роджерс просто отозвал Раша на двухнедельные консультации с тем, чтобы департамент мог провести «углубленный анализ».

Мы были в очень трудном положении. Нам нужно было убедить почти параноидально настроенные Советы в том, что отсрочка не имеет особого значения, и, тем не менее, вряд ли можно было сказать Государственному департаменту, что у него нет оснований рассмотреть соглашение такой важности. Мы не могли гарантировать, что какой-нибудь бюрократический придира не заставит нас вновь поднять вопросы, которые были уже урегулированы дважды с Советами, вначале на уровне встреч Раш-Бар-Фалин, а затем вновь на четырехсторонних переговорах на уровне послов с Абрасимовым. Безумные телефонные звонки между президентом, Роджерсом, Холдемано и Митчеллом (как со старым другом Раша) шли один за другим. Как обычно, Холдемано было поручено задание все уладить. Брандт – по моему предложению – вступил в полемику с веским письмом к Никсону, в котором одобрил соглашение как «крупное достижение». Оно будет использовано в работе с Роджерсом. У Никсона имелся гений для придумывания объяснений

случившегося факта. Он обратился за помощью к своему государственному секретарю на том основании, что европейцы были недовольны экономическими мерами Никсона от 15 августа, установившими 10-процентный добавочный налог на импорт, который нам был необходим для того, чтобы позволить им что-то сделать по-своему в обмен на это (имея в виду, что он не имеет ничего общего с заключением соглашения). После встречи с Рашем 25 августа Роджерс начал менять свое отношение. Последним актом пьесы стало президентское приглашение Раша в Сан-Клементе 27 августа. Оно завершилось пресс-конференцией, во время которой Раш объявил, что он завершил окончательный анализ с президентом и что соглашение представляет собой «крупный триумф внешней политики президента Никсона». Этим был положен конец нашим внутренним пререканиям.

Было еще одно странное отступление, еще одна коммунистическая игра с переводами: восточные немцы выдали текст, который значительно отличался не только от английского и русского вариантов, но также от западногерманского. Французы, однако, отказались присоединиться к давлению на русских, чтобы те заставили восточных немцев подчиниться – французский посол Жан Сованарг в гневе покинул помещение одной встречи. Французская позиция базировалась на отказе французской стороны придать немецкому языку статус официального. Доставляя радость французам, такой подход к соглашению, касающемуся преимущественно немецких дел, представлялся весьма и весьма любопытным. Но, как часто происходит в дипломатии, исключительно абсурдная формула положила конец этому противоречию. Только французский, советский и английский тексты считались «официальными». Переговоры завершились при наличии такой аномалии, как отсутствие авторитетного немецкого текста соглашения, определяющего статус бывшей столицы Германии, выполнение которого в большой степени будет находиться в руках немцев.

Четырехстороннее соглашение по Берлину было официально подписано 3 сентября 1971 года. Кеннет Раш, мастерские усилия которого сделали это возможным, заплатил за напряжение усилий физическим коллапсом, от которого он отходил несколько недель. Если у берлинских переговоров и был герой, то это был Раш. Он сохранял веру среди наших союзников; придерживал нетерпеливость Бара; проводил переговоры с двумя типами советских послов (в Берлине и Бонне) с большим умением и с полной свободой действий. Без него наши усилия никогда не достигли бы такого замечательного успеха.

Лишенный каких бы то ни было эмоций подход к советским отношениям теперь со всей очевидностью начинал приносить свои плоды. Мы начали показывать, что учет национального интереса является лучшим способом выхода из тупиковых отношений между Востоком и Западом, чем призывы к смене умонастроений. Увязка работала, даже если ее отвергали разные теоретики. Мы вели в тандеме переговоры по ОСВ и Берлину и в значительной степени добились наших целей. И, разумеется, Советы были умеренно удовлетворены уступками со стороны Брандта. Только любители верят в односторонние сделки.

В итоге встреча на высшем уровне

Как переговоры по ОСВ, так и берлинские переговоры в качестве своего контрапункта содержали основную тему мелодии – попытку организовать встречу на высшем уровне. Мы поднимали вопрос в 1970 году, но смогли продвинуть перспективы встречи не далее общего предложения, впервые представленного Добрыниным 25 сентября 1970 года, позже подкрепленного сообщением Громыко Никсону о том, что подходящей датой была бы дата в конце лета 1971 года. Громыко, однако, воздержался передать официальное приглашение, а Добрынин продолжал избегать определения даты. Со всей очевидностью Советы считали перспективу встречи с их руководителями чрезвычайно сильным благом для нас, достойным того, чтобы продаваться снова и снова по высокой цене.

И только 23 января 1971 года, когда я согласился обсудить Берлин по закрытому каналу с Добрыниным, подготовка к такому саммиту ускорила. Добрынин стал более конкретным по срокам его проведения, всегда избегая окончательной конкретизации. Несомненно, если я увязал Берлин с ОСВ, то Советы увязали Берлин с встречей на высшем уровне. Проблема стратегии Москвы состояла в том, что одновременно мы также спокойно готовили вторую встречу на высшем уровне в Пекине, и это делало наши переговорные позиции намного сильнее, чем казалось.

Добрынин возвращался к вопросу о встрече в верхах еще несколько раз в феврале, подтверждая осень как время встречи, но не был готов обсуждать какие бы то ни было приготовления. После этого тема саммита исчезла из нашей повестки дня, потому что советское руководство якобы было занято XXIV съездом партии. В конце марта Добрынин отправился на одну из своих частных консультаций в Москву, по этой причине осень снова ускользнула. Ангел-

хранитель, должно быть, следил за нами, потому что мы не были готовы к саммиту.

Партийный съезд установил лидирующее положение Брежнева. Я написал президенту в середине апреля о том, что, по моему мнению, Брежнев превратился в доминирующую личность. Я сделал из этого выводы о неоднозначных перспективах:

«...по важным вопросам по существу между нами Брежнев почти определенно считает себя действующим с позиций значительной силы. Его склонность к уступкам, по всей видимости, будет ограниченной, соответственно, поскольку он будет рассчитывать переждать нас и дать возможность «вопросу мира» сделать свое дело здесь по мере приближения выборов.

Тем не менее, в итоге можно было бы сделать такое рациональное суждение о том, что: а) Брежнев имеет некоторую свободу маневра для подлинных переговоров и б) имеет стимул для некоторой стабилизации отношений с нами для того, чтобы достичь своих внутренних целей и установить полный контроль над центробежными тенденциями в его собственной империи».

Никсон написал на полях: «У нас будет ответ через 30 дней».

Ответ, однако, показал, что Советы точно так же не были готовы принимать однозначные ясно выраженные решения при новом руководстве, как это было и при старом. Они хотели встречу на высшем уровне, но также хотели подстраховаться, используя ее для того, чтобы оказывать давление на нас во время берлинских переговоров. Они хотели новых отношений, но не доверяли нам настолько, чтобы опираться на наше завершение переговоров, что было в общих интересах и к чему обе стороны приложили массу усилий, потратили много времени. Таким образом, 23 апреля Добрынин предложил сентябрь, но увязал открыто встречу на высшем уровне с соглашением по Берлину. Я отреагировал резко, настаивая, что мы не приемлем никаких условий (в этом не было ни грамма лицемерия со стороны одного из главных исполнителей теории увязки). Добрынин, используя мои собственные аргументы в плане увязки против меня, настаивал на том, что Москва говорит о реальности, а не об обусловленности. Я был менее всего признателен Добрынину за то, что он оказался таким способным учеником. 26 апреля – за день до окончательного

подтверждения приглашения от Пекина – я предупредил Добрынина и попросил не играть с саммитом. В следующий раз при обсуждении речь пойдет о том, что Добрынин должен быть готов сделать объявление.

Следующий раз пришелся на 8 июня в Кэмп-Дэвиде, куда я пригласил Добрынина для общего разбора состояния американо-советских отношений. Он несколько заискивающе утверждал, что рассчитывает на переизбрание Никсона, а затем использовал этот аргумент, предположив, что нет никакой спешки со встречей на высшем уровне. Она произойдет в порядке вещей после завершения берлинских переговоров. Это был мелкий и совершенно лишний маневр, потому что Громыко должно было быть известно, – несмотря на эпические сказки Фалина, – что мы идем к скорому завершению.

К тому времени планирование моей поездки в Пекин активно продвигалось вперед. В Кэмп-Дэвиде 8 июня я был больше озабочен тем, что Советы определятся с саммитом раньше того времени, чем когда я смогу найти взаимоприемлемую дату. Мне меньше всего хотелось, чтобы публичное оповещение об американо-советском согласии провести встречу на высшем уровне случилось, пока я нахожусь на пути в Пекин. По этой причине я попросил Добрынина дать мне определенный ответ к концу июня (я должен был отбыть 1 июля в 12-дневную азиатскую поездку). Так или иначе, сентябрь не будет вероятным сроком проведения саммита. Добрынин, без сомнения, полагал, что определение мною крайнего срока свидетельствует о нетерпении, которое жалко будет не использовать. Фактически же это было отражение разумной перестраховки в игре, природу которой Советы еще не понимали.

5 июля, пока я был в Бангкоке и только через четыре дня собирался прибыть в Пекин, Москва отклонила сентябрь, дату, которую она же сама изначально и предлагала. Заместитель Добрынина Воронцов довел ответ до сведения Хэйга, который позвонил Лорду в 15.00, пытаясь говорить эзоповым языком (который даже неграмотное дитя смогло бы расшифровать). Советская нота не только откладывала встречу на высшем уровне, но и выдвигала дополнительные условия. В ней признавалось, что в последнее время наметилось движение в обсуждении некоторых вопросов (имея в виду Берлин). «В то же самое время по-прежнему отсутствует полная ясность относительно того, смогут ли соглашения быть достигнуты так быстро, как этого хочется». Советы предложили взаимоприемлемое время ближе к концу 1971 года. Дату для объявления следует «определить» на дополнительных переговорах – другими словами, новая задержка. В конце сообщения был абзац, предполагавший, что Советы

обусловливали проведение саммита не только Берлином, но также и американской сдержанностью в целом (возможная отсылка к Вьетнаму): «Необходимо, чтобы обе стороны в своей деятельности не позволяли себе ничего, что делало бы ситуацию неблагоприятной для подготовки и проведения встречи и могло бы ослабить шансы получения позитивных результатов на этой встрече».

Я телеграфировал Хэйгу, высказав мнение о том, что нота Воронцова имеет свои преимущества. Мы теперь можем проводить саммиты в том порядке, который нас устраивал больше всего. Советскому Союзу будет гораздо труднее обвинить нас в вероломстве в связи с нашим открытием Пекину (не решающий фактор, но полезный). И если Советы по-прежнему хотели продолжать с организацией московского саммита, – что я полагал вполне вероятным, – он произойдет в обстоятельствах, при которых баланс интересов будет более ощутим. Как уже отмечалось, я также дал указания Кену Рашу в Бонне замедлить берлинские переговоры в течение двух недель.

Мы не могли полностью игнорировать совет всех ведущих правительственных экспертов по Советскому Союзу в том плане, что открытие Китаю могло бы привести к ужесточению советской политики. Хотя я был не согласен с этим суждением, но считал необходимым подстраховаться на случай своей ошибки. 15 июля, примерно за 45 минут до объявления о моей поездке в Пекин, мы направили сообщение советским руководителям через Воронцова, скромно напомнив советскому правительству о «стечении обстоятельств, предшествовавших объявлению». Мы подтвердили нашу готовность продолжать улучшать отношения. Мы подчеркнули, что объявление от 15 июля не направлено против какой-либо страны; однако мы готовы к любым последствиям.

Причин для волнения не было никаких, как научил нас наш собственный предыдущий анализ советских мотиваций. Советские руководители не бросают вызов факторам, они приспособляются к ним. Они не собирались толкать нас безвозвратно на китайскую сторону. Они подсчитали, что у них есть много того, что можно нам предложить. Короче, Кремль нехотя, но сыграл свою роль в отношениях в «треугольнике», несомненно, в ожидании возможности рассчитаться сполна, но не получив никакого выбора в силу логики событий.

Когда я увидел Добрынина 19 июля, через четыре дня после того, как мир узнал о том, что Никсон собирается в Пекин, он был сама слащавость. Он теперь

ратовал за московский саммит. Вопрос в том, будет ли эта встреча раньше встречи в Пекине? Я представил ответ как мое личное мнение, сказав, что встречи на высшем уровне должны проводиться в порядке, в каком о них была достигнута договоренность, – ровно эту точку зрения я высказал в Пекине. Добрынин, – несомненно, имея большие проблемы в Москве из-за того, что не смог предусмотреть нашего шага, – выразил сожаление о том, что мы не предупредили его заблаговременно. Подумав, он признал, что просить об этом было бы слишком. И он продолжал интересоваться воздействием советского отказа от сентябрьской даты на визит Никсона (не исключено, чтобы переложить часть вины на своих начальников). Его тон и поведение изменились с момента объявления о моем визите в Китай. Теперь, когда у нас были явно иные варианты, раздражающее чередование кнута и пряника исчезло. Как он утверждал, мы совершенно неправильно истолковали их ноту от 5 июля. Она стала результатом всего лишь проблем с графиком. Она не отражает недостаток интереса к встречам на высоком уровне. Поскольку советские руководители посещают Францию в октябре, предложение ноября или декабря представляло собой в основном предпочтение сугубо процедурного характера. Я посчитал, что нет необходимости напоминать ему о выдвигавшихся условиях или об игре в кошки-мышки, которая велась год и два месяца.

Новая советская тактика была очевидна. Она состояла в том, чтобы продемонстрировать, как я говорил, что в дипломатии «треугольника» Пекин дал нам ход, но не стратегию. Москва могла предложить конкретные выгоды. Как Брежнев изложит это позднее, Никсон отправился «в Пекин на банкеты, а в Москву делать дела». Таким подходом Москва пыталась дать понять Пекину, что у него нет реальных вариантов: враждебное отношение к Москве привело к массированному наращиванию на границе; попытка открыть каналы для Вашингтона приведет только к тому, что Москва продемонстрирует еще раз, что она представляет собой сторону с гораздо большими возможностями.

Не было никаких оснований выводить Советы из заблуждения относительно их уверенности в себе. Когда две коммунистические державы соревнуются за хорошие отношения с нами, это только на пользу делу мира. В этом главная суть стратегии «треугольника». Наш путь через этот лабиринт состоял в том, чтобы играть честно со всеми сторонами. С геополитической точки зрения нашим интересам противоречило, чтобы Советы доминировали над Китаем или чтобы Китай откатился обратно к Москве. Мы не собирались, следовательно, ничего предпринимать, чтобы содействовать советским планам ослабления Китая. Действительно, если бы произошло самое худшее, то я был убежден, что мы не должны смотреть равнодушно в случае советского нападения на Китай, – точка

зрения, которую разделяло немного моих коллег.

С другой стороны, мы не хотели спровоцировать возможность такого развития событий. Китайско-советские трения развивались по своей внутренней логике; они были созданы не нами, и они не могли управляться нами напрямую. Каждый из коммунистических противников непременно почувствует на себе влияние наших действий; каждый будет пытаться толкать нас в желательном для него направлении; каждый будет определять свои отношения с другим частично с учетом собственных оценок наших намерений и действий. Но пытаться манипулировать ими значит сделать нас их заложниками. У нас не было таких возможностей, чтобы разжигать конфликт, о происхождении которого нам было неизвестно. И попытка сделать это была бы похожа на то, чтобы подбить обе стороны шантажировать нас поочередно.

Нам приходилось идти по узкой дорожке. Мы приводили бы те аргументы Советскому Союзу, которые, как мы считали, в наших национальных интересах. Но мы не подадим никаких поощрительных сигналов в возможности установления кондоминиума и будем отвергать любые попытки со стороны Москвы добиваться гегемонии над Китаем или где-либо еще. Мы будем информировать Китай о наших переговорах с Советским Союзом, и будем делать это весьма подробно, мы будем принимать во внимание мнение Пекина. Мы не станем заключать никакого соглашения, нацеленного против китайских интересов. Но мы не позволим Пекину иметь вето в отношении наших действий. Мы тщательно следовали этим принципам для обеих сторон с самого начала взаимоотношений в «треугольнике», – хотя в силу того, что Москва была более сильной стороной, мы информировали ее не так точно и не так часто.

В начале августа 1971 года я рекомендовал президенту начать прямой контакт с Брежневым. До этого редкие обмены между высшими руководителями велись с Косыгиным. Но съезд партии четко определил, – и Добрынин это подчеркнул, – что отныне Брежнев начнет проявлять растущий интерес к внешней политике. 5 августа, таким образом, было направлено письмо от Никсона Брежневу, – составленное моими сотрудниками и мною, – в котором очерчивались основные элементы нашей политики в отношении Советского Союза. В нем подтверждалась тема, которую мы подчеркивали с момента инаугурации Никсона: что прогресс в наших отношениях требовал конкретных решений, из которых договор по ОСВ был одним из самых важных. Затем в нем в общих чертах описывались наши взгляды на другие вопросы в соответствии с устоявшимися направлениями. Подчеркивалось, что мы продолжим

нормализацию отношений с Китаем не как политику, направленную против Советского Союза, а в соответствии с нашей концепцией стабильного мирового порядка.

После этого шаги в наших отношениях ускорились. Тон советских сообщений значительно смягчился. Ушли в прошлое условия предыдущих трех месяцев или пункты договора, предусматривающие отказ от взятых обязательств в зависимости от общего американского поведения. 10 августа Советы передали официальное приглашение президенту Никсону посетить Москву в мае или июне 1972 года. Советская нота показывала, что СССР «приветствовал» нормализацию отношений между Пекином и Вашингтоном с предупреждением о том, что все зависит от дальнейшего хода развития этих отношений. Притворяясь, что им все равно, авторы ноты утверждали, что Советы не подвержены «преходящим расчетам, независимо от того, какими важными они ни представлялись бы». Но точно так же, как мы могли разрушить отношения в рамках «треугольника», пытаясь использовать их в своих интересах, так и Советы не смогли бы избежать их последствий, заявляя о своем безразличии к этому.

Тот факт, что Москва, независимо от того, что она заявляла открыто, понимала реалии, стал очевиден во всем том, что за этим последовало. После объявления о поездке президента в Пекин неурегулированные вопросы по Берлину были разрешены к нашему удовлетворению за одну неделю. Соглашение о предотвращении случайного возникновения войны, предусматривающее срочную связь в случае технических неисправностей, но очищенное от всяких антикитайских подтекстов, было заключено в конце августа. Оно было подписано 30 сентября в Вашингтоне во время ежегодного визита Громыко на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных Наций. Тон во всех наших других делах изменился кардинально. Сосуществование, – по крайней мере, на какой-то период времени – устанавливалось не в результате неожиданных моральных прозрений, а в результате потребностей международного баланса, который мы помогали формировать.

17 августа я сказал Добрынину, что мы принимаем приглашение на встречу на высшем уровне. Оставшаяся часть месяца ушла на проработку проекта объявления, в котором, как и в том, что прозвучало в Пекине, делалось все, чтобы ни одна из сторон не выглядела в роли просителя. Добрынин и я 7 сентября окончательно договорились о нейтральной формулировке, которая демонстрировала, что достигнут достаточный прогресс в американо-советских отношениях, позволяющий руководителям двух стран встретиться во второй

половине мая 1972 года в Москве. Объявление должно было быть сделано 12 октября после визита Громыко в Вашингтон.

Громыко прибыл в Овальный кабинет 29 сентября 1971 года, лучась от радости, все двойные негативы указывали в позитивном направлении. Он объявил, что Москва рассматривает американо-советские отношения главными для мира во всем мире, Брежнев берет это под свой личный контроль. Громыко обозначил новый подход к Ближнему Востоку; Советский Союз был бы готов вывести боевые подразделения из Египта в случае окончательного урегулирования (подробнее будет обсуждено в Главе XI). Громыко зашел настолько далеко, что предложил передать послание в Ханой. Он подтвердил заинтересованность в быстром и успешном завершении переговоров по договору об ОСВ.

Точно так, как и год назад, было обговорено, что еще до встречи Никсон заберет Громыко в свое убежище в здании исполнительного управления. Было важно, чтобы он так сделал, поскольку никто в нашей бюрократии не знал пока, что встреча на высшем уровне была согласована, и уж тем более текст объявления. Никсон возвращается после закрытой встречи, весь светясь от радости, чтобы сказать своему государственному секретарю, что он с Громыко только что урегулировали планы для московского саммита, создав впечатление, что Громыко привез приглашение, и что Никсон принял его сразу же, и что они оба совместно обсудили объявление. (Это произвело двойной эффект: Никсон обретал роль главного переговорщика, и одновременно снималось напряжение между Роджерсом и мною.) Громыко сыграл свою роль в некотором недоумении, но с каменным лицом и апломбом, которые сопровождали его на протяжении десятилетий бесконечно более фатальной политики Кремля.

Я встретился с Громыко на следующий день в советском посольстве. Атмосфера была небывало сердечной. Больше не было никаких проволочек относительно взаимоотношения между наступательными и оборонительными ограничениями в вопросах об ОСВ; напротив, Громыко не оставил сомнений в том, что Москва сделает все от нее зависящее, чтобы завершить оба соглашения вовремя к встрече на высшем уровне. Громыко первым сообщил, что предстоящий визит советского президента Подгорного в Ханой проводится по инициативе северных вьетнамцев. Он интересовался, сможем ли мы смириться с «нейтральным» правительством в Сайгоне, исключая коммунистов, как и Нгуен Ван Тхиеу. Я ответил, что мы не станем свергать Тхиеу в порядке урегулирования, но мы открыты для политического процесса, в котором все силы могут принять участие после достижения урегулирования. Громыко сделал вид, что это повторение

нашей официальной позиции представляет собой нечто новое, заслуживающее для передачи Ханю. Учитывая, что у нас были прямые каналы выхода на северных вьетнамцев, я не видел смысла в советском посредничестве, при котором мы никогда не были бы уверенными в том, правильно ли понял посредник все тонкости или имел тот же самый интерес, что и мы, при передаче точной информации. Я же реанимировал идею, стоявшую за миссией Вэнса двухлетней давности. Я предложил отправить кого-то в Москву для участия в переговорах с высокопоставленными северными вьетнамцами, если Ханой видел какие-то перспективы скорейшего урегулирования.

Это предложение оказалось перед дилеммой с бюрократической точки зрения. С момента моей секретной поездки Советы проявляли готовность принять меня с визитом в Москве с целью подготовки саммита, желая одинакового подхода в сравнении с Пекином. (А поскольку я совершил секретную поездку в Пекин, они хотели, чтобы я совершил секретную поездку и в Москву!) Громыко первым сделал приглашение. О нем было сообщено в письменном виде 1 декабря. Оно также отражало реальную потребность. Встречи на высшем уровне являются заведомо плохим поводом для переговоров. В них самих содержится предельный срок, протокольные рамки, и, если они должны завершиться успехом, любое важное соглашение должно быть разработано заблаговременно. А при организационной структуре нашего правительства я был переговорщиком, который мог бы быть самым решительным.

Никсон согласился в принципе с моим визитом в Москву, но не видел никакой возможности осуществить его и сохранить отношения с Роджерсом. В этом отношении он был совершенно прав. Я разделял его мнение и никогда не настаивал на визите вплоть до самого последнего времени, когда северовьетнамское наступление не обрушилось на нас за семь недель до планируемой встречи на высшем уровне и не привело к тому, что контакт с Брежневым становился настоятельно необходимым. Никсон не пускал Роджерса в Москву почти три года, частично потому, что хотел быть первым самым высокопоставленным американцем, отправившимся туда, частично потому, что со временем он и Роджерс редко обменивались мнениями для выяснения позиций друг друга по тем или иным вопросам. Но послать меня, – если этого не требовали события, – стало бы ненужным нанесением травмы.

Предложение для переговоров на высоком уровне по Вьетнаму в Москве было не более успешным, чем инициатива по миссии Вэнса, – за исключением того, что на этот раз мы получили официальный ответ. 16 октября нам официально сказал

Добрынин, что Ханой предпочитает иметь дело с нами скорее напрямую, чем через Москву.

В течение всего 1971 года мы отражали продолжающиеся настойчивые просьбы от наших экономических ведомств ослабить ограничения на торговлю с СССР. Наша стратегия состояла в том, чтобы использовать уступки в сфере торговли в качестве политического инструмента, прекращая их предлагать, когда советское поведение носило авантюрный характер, и предлагая их в дозированной форме, когда Советы вели себя правильно. В целом мы ратовали за проекты, которые требовали достаточно времени на их завершение, чтобы у нас сохранялся рычаг воздействия на советское поведение. Мы установили план-схему для американской фирмы по продаже зуборезных станков для одного советского завода по производству грузовиков гражданского назначения на реке Кама на два года, чтобы ослабить сильное давление со стороны наших экономических структур и конгресса. Мы получали множество писем с угрозами от ярых антикоммунистов, пока они не увидели, что под угрозой находятся наши прибыли. После согласия Советов с компромиссом от 20 мая по ОСВ сделка по этому заводу была быстро одобрена. Некоторые другие проекты, связанные с КамАЗом, были приостановлены до тех пор, пока не был достигнут прорыв по Берлину после объявления о моей поездке в Китай. Часть проектов была вновь заблокирована во время индийско-пакистанского кризиса. Питер Дж. Петерсон, помощник президента по международным экономическим вопросам, разработал эффективную схему координации шагов, которая подчинила все такого рода экономические решения нашей внешнеполитической стратегии. Он выполнял эту же роль со всей присущей ему способностью и ловкостью, когда стал министром торговли в 1972 году.

Именно таким образом нам удавалось тогда сохранять темп нашей работы, кульминацией которой в 1971 году стало объявление президентом Никсоном 12 октября о встрече на высшем уровне в Москве в мае 1972 года. Год, который начинался застоем, стал свидетелем открытия Китаю, потепления отношений с Москвой, заключения соглашений по Берлину и предотвращения случайного возникновения войны, а также прорывом в переговорах по ОСВ. Вьетнам мог бы быть включен в список достижений этого года. Он по-прежнему довлел над страстями многих, но теперь меньше представлял собой национальную навязчивую идею, идефикс, а больше был схож с болезненным наследием на пути к разрешению. Ханой не мог помочь, но мог оказаться под воздействием того, что два великих коммунистических союзника теперь каждый в отдельности улучшали свои отношения с Вашингтоном, несмотря на войну в Индокитае. Это должно было непременно улучшить наши переговорные позиции. Помимо этого,

наши различные инициативы начали развеивать кошмар о том, что Вьетнам подорвет дух и веру нашего народа. Мы показали, что Америка остается способной на великие дела, несмотря на все трудности. Мы могли видеть в перспективе новый международный порядок, отражающий реальности и чаяния нашего времени, достигнутый благодаря нашему видению и нашей самоотверженности.

Все это случилось в значительной степени благодаря настойчивости Никсона, с моей помощью, при контроле над внешней политикой со стороны Белого дома. В 1971 году мы взяли в свои руки не просто планирование, но также и претворение в жизнь важных инициатив. Я здесь констатировал, что не считаю используемые методы желательными чисто в теоретическом плане. Разумеется, их не следует использовать на постоянной основе. Но президенту трудно предпринимать какие-то новые шаги, преодолевая «систему». Министерства и ведомства предпочитают действовать на основе консенсуса. Им нравится проводить политику на основе согласования документов и получения разрешений, в результате чего совершенно не понятно, кто побеждает – а также в каком направлении двигаться. Они демонстрируют склонность к восприятию современного. Они избегают конфронтации друг с другом, со СМИ или конгрессом. Когда с ними спорят, они не уклоняются, однако, от политической войны против президента при помощи утечек и, в экстремальных случаях, подталкивая конгресс на оказание нажима. Все президенты считали необходимым находить какие-то пути для того, чтобы избежать удушья от бюрократической инерции под видом процедуры согласования или от экономических ведомств, добивающихся своих целей без каких-либо политических установок. Нет сомнения в том, что Никсон дошел до крайности в попытке добиться своего доминирования. Было много преданных сотрудников ведомств, готовых прийти на помощь. Но, как показали ситуации с китайскими инициативами, переговорами по ОСВ и на Ближнем Востоке, многие наши концепции оказывались противоречащими сложившимся стереотипам.

Тот факт, что Никсон предпочел скорее обходить этот процесс, чем наводить порядок, отражал особенности его характера. Это не меняет проблемы, с которой столкнулся бы любой новаторски мыслящий президент. И Никсон заслуживает большой похвалы за твердые решения, принятые перед лицом огромнейшего давления со стороны общественности, за его стратегическое мышление, за его одиночные усилия, за его храбрость и готовность к риску не только в условиях войны, но и в мирных условиях. Его управленческий подход был весьма странен, а человеческие жертвы неприемлемы, тем не менее, история должна также отметить тот фундаментальный факт, что были

достигнуты крупные успехи, казавшиеся недостижимыми при выполнении обычным порядком.

У нас не было иллюзий по поводу советских мотиваций. Но я не принимал тогда, и не принимаю сейчас, предположения о том, что нас бы непременно обыграли Советы в политическом соревновании. На самом деле соревнование могло бы быть выдержано во внутреннем плане, только если бы мы не побоялись прозондировать перспективы сосуществования. Только после этого мы были в состоянии противостоять вызовам как единый народ. Никакой другой курс не дал бы нам такой возможности сомкнуть наши ряды. Готовились ли Советы к переговорам или к конфронтации, наша задача оставалась одной и той же: Соединенные Штаты должны были бороться за мир, но они должны были быть уверены в том, чтобы стремление к миру отражало чувство справедливости и не превратилось в паническое бегство с односторонними уступками.

Мы использовали эру переговоров для достижения наших целей обеспечения мира и защиты свободы. Вот что я написал Никсону в отчете о моей беседе с Громыко 30 сентября:

«Мы можем полагать, что Советы, даже следуя этой новой «позитивной» линии, будут преследовать собственные национальные интересы, выторговывая уступки для своих друзей и, нормальным образом, пробивая себе тактический путь. Но перспективы и взаимосвязь Ваших двух встреч на высшем уровне дает нам полезный рычаг. Если правильно разыграем наши карты, мы можем рассчитывать на некоторые конструктивные результаты».

II

Стычка: индийско-пакистанский кризис 1971 года

Причины трагедии

При каждой администрации случается какое-то событие, которое ярко проявляет пределы человеческой прозорливости. В год неопределенности по Вьетнаму, открытия Китаю и развивающихся отношений с Советским Союзом меньше всего наша администрация хотела бы столкнуться с кризисом в Южной Азии. И как бы для того, чтобы подчеркнуть элемент случайности во всем нашем планировании, оно, это событие, было вызвано, ни много ни мало, циклоном.

Индийский субконтинент, на юге граничащий с Индийским океаном, на севере упирающийся в Гималаи, а на западе в горы Гиндукуш, которые сливаются с небесами, решив перекрыть вздыбившиеся массы, и превращающийся на востоке в болота и реки Бенгалии, существовал на протяжении тысячелетия как отдельный мир. Его северные равнины летом плавилась от лишающей сил жары и страдали от невообразимого холода зимой. Его весь утопающий в буйной растительности юг располагает к спокойной и размеренной жизни. Населяющие его говорящие на разных языках народы свидетельствуют о волнах завоевателей, которые обрушивались на них через горные перевалы из соседних пустынь, а иногда и из-за моря. Ханьцы, монголы, греки, персы, могулы, афганцы, португальцы и, наконец, англичане создавали империи, а затем исчезали, оставляя массы не помнящих ни о пришедших, ни об ушедших.

В отличие от Китая, который так успешно переустанавливал собственную матричную основу права и культуры на захватчиков, что они становились неотличимыми от китайского народа, Индия возвышалась над иностранцами не при помощи их привлечения, а отделения от себя. Захватчики могли сооружать потрясающие монументы в знак своей собственной важности, как бы для того, чтобы уверить самих себя в своей величии, сталкиваясь с почти полным равнодушием, но индийские народы выжили, создавая взаимоотношения, характеризующиеся полным неприятием иностранного влияния. Подобно Ближнему Востоку, Индия является родиной великих религий. И все же, в отличие от Ближнего Востока, эти религии не были религиями экзальтации, они проповедовали выносливость. Они вдохновляли человека не пророческими видениями мессианских свершений, а представляя свидетельства хрупкости человеческого существования. Они предлагали не личное спасение, а утешение в неизбежности судьбы. Там, где каждый человек с рождения отнесен к той или иной категории, его несостоятельность никогда не бывает личной, его качества испытываются его способностью выдержать свое предназначение, а не сформировать свою судьбу. Кастовая система не нравится цивилизациям, полным решимости добиваться полной самореализации в своей единственной жизни. Она обеспечивает чрезвычайную способность к восстановлению сил и дает утешение на более длинную перспективу. Религия индуизма – это гордая и

самодостаточная религия, не принимает новообращенных. Можно либо родиться в лоне этой религии, либо навсегда быть лишенным ее утешения и гарантированного положения. Иностранцы завоевания не имеют никакого значения в свете такой полной замкнутости. Эта религия не дает неиндийцам никакого статуса в индийском обществе, что предоставляет возможность индийской цивилизации выжить, а временами даже и процветать на протяжении столетий иностранного правления. Конечно, так много вторжений должно было оставить сугубо человеческое, а не только архитектурное наследие. Мусульманские завоеватели, представлявшие привлекающую на свою сторону религию, предлагали массовое обращение в ислам как путь для индусов, принадлежащих к низшим кастам, смягчить свои условия существования. Они добились только частичного успеха, поскольку новообращенные мусульмане теряли даже то уважение, которое обеспечивал их статус принадлежности к низкой касте. Так были посеяны семена религиозной ненависти, раздиравшей субконтинент на протяжении прошлых поколений.

Великобритания была в числе одних из самых последних завоевателей, заменивших мусульманских Великих Моголов и некоторых индуистских правителей на севере и посадивших местных индуистских правителей на юге, – осуществив этот цикл, как казалось, на века. Однако в одном важном аспекте завоевание Великобритании было иным. Правда, что оно стало возможно как раз в силу того, что англичане заменили один комплект правителей другим по образцу, который стал традиционным. Психологической основой этого стало то, что концепция государственности еще не существовала. Но именно Британия наделила субконтинент – в дополнение к существовавшим религиозным, культурным и географическим проявлениям – еще и политическим самосознанием. Англичане впервые представили однородную структуру правления, административного управления и права. Затем они показали западные ценности национализма и либерализма. Как ни парадоксально, но внедрение ими самими ценностей национализма и демократии привело к тому, что англичане оказались «чужаками», к трансформации культурных проявлений в политическое движение. Индийские руководители, получившие подготовку в британских школах, требовали для своих народов ценности их правителей. А нерешительность сопротивления со стороны Великобритании показывала, что она потерпела поражение в нравственном сражении еще до начала участия в физическом.

По мере появления перспектив обретения государственности разноязычные национальности, которые осели в Индии из-за вторжений извне, теперь оставались один на один со своим растущим как на дрожжах народонаселением,

своей гнетущей бедностью и, прежде всего, сами с собой. Почти треть общего населения представляли собой мусульмане, которые концентрировались в Западном Пенджабе и Восточной Бенгалии, но имея важные вкрапления по всей Индии. Многие из этих народов, до сего времени бывшие изгоями в индийском обществе, посчитали неприемлемым жить в светском государстве, в котором доминируют те, кто веками презирал их. Британским решением в 1947 году стало разделение по религиозным водоразделам.

Таким образом, были рождены, среди невыносимого ужаса и межплеменных беспорядков, государства Индии и Пакистана. Последний был составлен из двух частей: Западного, в котором доминировал Пенджаб, и Восточного, Бенгалии[14 - Бенгалия была расколота разделом 1947 года. Восточная ее часть стала Восточным Пакистаном; Западная Бенгалия оставалась частью Индии.], отделенных друг от друга тысячами километров индийской территории, эти части не имели общего языка и удерживались вместе не общей экономикой или историей, а исламом и общим страхом индусского господства. Само существование Пакистана было вызовом индийским националистам, они, подобно другим руководителям движений за независимость, мечтали предъявить притязания на всю территорию, которой правила бывшая колониальная держава. И Индия видела в соседнем мусульманском государстве потенциальную угрозу собственному единству. Поскольку более 50 млн мусульман оставалось под господством Индии, то либо они рано или поздно станут заявлять о своих правах на собственное национальное существование, либо так или иначе создание Пакистана было на самом деле без особой необходимости навязано англичанами, о чем некоторые индийские националисты не уставали заявлять. Со своей стороны, Пакистан, осознавая, что даже индусы, принадлежащие самой низкой касте, считали себя частью системы выше мусульманской, смотрел на своего более крупного соседа со страхом, с недовольством и временами с ненавистью.

Немного старых соседей имеют так мало общего, несмотря на их соседство на протяжении нескольких столетий, как эти мудреные и сложные индусы и более простые и более прямолинейные мусульмане. Это отражается в контрастности их архитектуры. Тонко вырезанные индуистские храмы имеют укромные местечки и углы, чьи кажущиеся бесконечными детали не передают какого-то единого вида и не имеют какого-то общего значения. Мечети и форты, которыми мусульмане усеяли северную треть субконтинента, просторны, изящны и романтичны, их великолепное богатство контрастирует с пышущей жарой сельской равниной, их бесчисленные фонтаны отражают стремление к отделению от суровой окружающей действительности и ностальгию по менее

сложным регионам, откуда выдавили их создателей.

В 1950-е и 1960-е годы Америка, не имевшая понятия о погруженности этих новых стран в самих себя, попыталась сформировать их в соответствии с собственными представлениями. Мы приняли за чистую монету заявление индийского премьер-министра Джавахарлала Неру выступать в качестве нейтрального нравственного арбитра в мировых делах. Мы едва ли заметили, что это была именно та политика, при помощи которой слабая страна стремится добиваться влияния, не соответствующего ее мощи, или что Индия редко соотносила международные претензии с готовностью брать на себя какие-то риски, за исключением субконтинента, на котором она видела свое предназначение. А мы рассматривали Пакистан просто как потенциального военного союзника против коммунистической агрессии. Никто не понимал, что большинство пакистанцев считало своей реальной угрозой безопасности Индию, именно ту страну, которую мы поместили в пантеон абстрактной морали и которая, в свою очередь, рассматривала наше вооружение Пакистана как вызов, подрывая нашу попытку заботиться о своем протееже.

В одно и то же время мы переоценили возможности получения политического одобрения со стороны Индии и неправильно оценили цель военных усилий Пакистана. Мы оказались сверхчувствительны к «мировому мнению», которое Индия якобы представляла. Но мы также пытались подключить Пакистан к концепции сдерживания, которую он не разделял. Правовое обязательство в отношении совместной обороны, как предполагалось, должно было представлять сдерживающий фактор по отношению к коммунистической агрессии, даже когда члены предполагаемого альянса мало что могли сделать для того, чтобы подкрепить силы друг друга или имели мало общих целей. Пакистан стал нашим союзником по Организации договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО) и Организации центрального договора (СЕНТО)[15 - СЕАТО включала Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию, Австралию, Новую Зеландию, Пакистан, Филиппины, Таиланд (и Южный Вьетнам в качестве члена по дополнительному протоколу). СЕНТО включала страны так называемого «северного яруса обороны» - Турцию, Иран и Пакистан, а также Великобританию; Соединенные Штаты были членом организации лишь номинально.]. Пакистан в силу этого имел право на получение военной помощи от США, которая предназначалась для использования против коммунистической агрессии, но, как подозревала Индия, предназначалась для иных более вероятных целей.

Военные альянсы, сформированные во времена администрации Эйзенхауэра, вызывали противоречия в Америке, когда демократическая оппозиция нападала на них как на примеры чрезмерного акцентирования на военные соображения. Индия была в особенном почете у американских либералов, видевших в ее приверженности демократии основу национального партнерства, а в успехах ее подающей надежды экономики отповедь коммунистическим утверждениям, что они представляют то, за чем будущее. Неудивительно, что после смены администрации в 1961 году интерес Вашингтона к Пакистану охладел весьма заметно; на смену устным заверениям в американской защите все больше стали приходиться растущие поставки военного снаряжения. (Увеличение этих заверений вернулось и стало нас преследовать в 1971 году.) И все это время Индия настойчиво и умело работала над тем, чтобы подорвать военные отношения между Пакистаном и Соединенными Штатами даже после того, как создала собственную значительную военную индустрию и установила взаимоотношения с Советским Союзом по существенным военным поставкам.

Индийско-пакистанская война 1965 года дала нам предлог в какой-то степени освободиться от обязательств. Соединенные Штаты прекратили поставки всех видов военного оборудования обеим сторонам (эта политика была в какой-то мере пересмотрена в 1966–1967 годах, чтобы позволить передачу нелетальных видов вооружения и запасных частей ко всем видам военного снаряжения). Кажущееся равное отношение было обманчивым; практическим последствием стало нанесение ущерба Пакистану, поскольку Индия получала большую часть своих вооружений либо из коммунистических государств, либо из собственных арсеналов. Президент Джонсон, зная об односторонней направленности этих действий, обещал организовать передачу в Пакистан некоторых устаревших видов американских танков через такие третьи стороны, как Турция. Но он так и не завершил эту передачу, частично потому, что не хотел использовать сокращающуюся поддержку в конгрессе на то, что могло бы показаться ему не очень важным решением, а частично потому, что третьи стороны сами передумали соглашаться участвовать в этой сделке.

Мой собственный опыт с субконтинентом должен был предостеречь в отношении накалившихся там страстей. В январе 1962 года, пока я еще был формально консультантом при президенте Кеннеди, Информационное агентство Соединенных Штатов Америки организовало цикл лекций для меня по субконтиненту. Наш посол в Индии Джон Кеннет Гэлбрейт, один из моих хороших друзей, не был ни капли обеспокоен по поводу воздействия на его предположительно чувствительных и миролюбивых подопечных профессора Гарварда, чьей главной заявкой на известность в то время была книга под

названием «Ядерное оружие и внешняя политика»[16 - Киссинджер Г. (Киссинджер Г.) Ядерное оружие и внешняя политика. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. – 511 с. – Прим. перев.]. Я быстро успокоил его, оказавшись втянутым в дела Пакистана после моего прибытия в аэропорт Дели. На неизбежной пресс-конференции я ответил на вопрос относительно Кашмира, как я полагал, дав очень дипломатичный ответ, – что не знаю достаточно хорошо о нем, чтобы сформировать какое-то свое суждение. Когда меня спросили о начинающемся флирте Пакистана с Китаем, я неохотно признался в неведении относительно этих дел, что в свете преобладающего мнения о присущей Китаю агрессивности казалось верхом глупости. Поэтому высказался в том плане, что не мог себе представить, чтобы Пакистан делал такие глупые вещи. Руководители Пакистана уже чувствовали себя подвергнутыми дискриминации, потому что какой-то профессор Гарварда был назначен послом в Дели, в то время как для Исламабада годился только «карьерный» дипломат. Но они были слишком осмотрительны, чтобы критиковать личного приятеля Кеннеди. Мое интервью в аэропорту неожиданно оказалось очень удачным. Оно дало возможность пакистанской прессе проявить свое недовольство в отношении другого гарвардского профессора и менее связанного с Кеннеди. Мое признание в невежестве относительно Кашмира было превращено в символ американского безразличия. Использование слова «глупый» в одной фразе со словом «Пакистан», – даже просто для того, чтобы отрицать, что Пакистан глуп, – превратилось в национальное оскорбление. Но был один плюс. Кампания в пакистанской прессе моментально превратила меня в значимую фигуру в Индии. Так, в 1962 году, по крайней мере, обвинение состояло в том, что я больше склоняюсь в сторону Индии.

В конечном счете, дела успокоились и все устаканилось, так что я смог показаться в Пакистане во время той же поездки. Я немедленно продемонстрировал, что не утратил контакта с реальностью. Вернувшись в Пешавар после экскурсии на Хайберский перевал, я попал в засаду одного пакистанского журналиста, спросившего меня, видел ли я какие-нибудь признаки активизации пуштунов[17 - Речь шла о движении за отделение этого пограничного района от Пакистана и присоединении его к народу, говорящему на схожем по названию языке на афганской стороне Хайберского перевала.]. Исходя из теории о том, что субконтинент был лишен моих остроумных замечаний довольно долгое время, я ответил так: «Я бы не признал активизацию пуштунов, даже если бы в результате получил удар по своей физиономии». Получившийся в итоге заголовок «Киссинджер не признает Пуштунистан» вызвал официальный афганский протест в Вашингтоне, но, по крайней мере, сделал из меня кратковременного героя в Пакистане. Неизвестно, чего еще я

смог бы добиться, если бы в порыве страсти к путешествиям посетил Афганистан. Но ЮСИА решило, что у него есть нечто большее, чем тратить деньги на культурный обмен, и что мне с моими талантами лучше оставаться дома.

Таким образом, мне следовало бы лучше узнать этот регион, прежде чем втягиваться в безумные дела субконтинента в 1971 году.

Когда Администрация Никсона пришла к власти, цель нашей политики на субконтиненте состояла в том, чтобы всего-навсего избежать дополнительных осложнений на нашу голову. На протяжении нелегких 25 лет сосуществования Индия и Пакистан провели две войны. Мы старались поддерживать добрые отношения с ними обеими. Никсон, мягко говоря, был менее восприимчив к индийским заявлениям относительно морального лидерства, чем кто-либо из его предшественников. На самом деле он рассматривал мнение, что он считал действия своих предшественников этаким якобы угодничеством перед Индией, ярким примером либеральной придурковатости. Но это не помешало ему осуществить умеренно успешный визит в Дели в 1969 году во время мирового турне. Он быстро отказался от своего представления о толпах, по сравнению с мнением Эйзенхауэра в 1956 году. Прием был сдержанным; толпы были вполне в разумных пределах; обсуждения носили, как их назвали бы языком коммюнике, «конструктивный и деловой» характер. Никсон выступил с очень ярким тостом на обеде, отдал дань уважения мудрости Махатмы Ганди и вдумчиво рассуждал о природе мира в современном мире.

Но Никсон и г-жа Индира Ганди, индийский премьер-министр и дочь Неру, не были предназначены судьбой друг для друга в личном плане. Ее мнение о своем почти наследственном нравственном превосходстве и угрюмое молчание разбудили присущие Никсону подспудные чувства неуверенности в себе. Ее отношение к Никсону сочетало презрение к символу капитализма, очень популярное в развивающихся странах, с намеком на то, что не все предосудительные вещи, которые она слышала о президенте от своих интеллектуальных друзей, являются ложью. Комментарии Никсона после встреч с ней зачастую носили нецензурный характер. С другой стороны, Никсон понимал руководителей, действующих на основе лишенной сантиментов оценки национального интереса. Если кому-то удавалось пробиться сквозь жесткую риторику уверенного в своей правоте человека, то можно было понять, что г-жа Ганди не имела себе равных в деле хладнокровной оценки разных элементов власти. Политические отношения, по своему существу, в силу этого были

гораздо лучше, чем личные.

Каковы бы ни были личные мнения-сомнения Никсона относительно премьер-министра, Индия продолжала получать значительную поддержку в конгрессе и в самом его правительстве на протяжении первого срока работы его администрации. Г-жа Ганди еще не успела разочаровать американцев своим ядерным испытанием и претензией на авторитарное правление. Эмоциональные связи с самой многонаселенной демократией в мире сохранялись. Крупные суммы по программе помощи предлагались администрацией и проходили через конгресс при минимальной оппозиции. За период с 1965 по 1971 год Индия получила 4,2 млрд долларов американской экономической помощи, примерно 1,5 млрд долларов из них пришлось на годы правления Никсона.

Если Индия согревалась теплом конгресса, а президент испытывал к ней полное равнодушие, то ситуация с Пакистаном была совершенно противоположной. Пакистан был одной из стран, в которых Никсона принимали с уважением, когда он еще не был у власти. И он никогда не забывал этого. А грубоватые, прямолинейные военные правители Пакистана были гораздо ближе ему, чем сложные и явно высокомерные руководители Индии из числа представителей высшей касты брахминов. С другой стороны, Пакистан никогда не пользовался такой популярностью и симпатией в Америке, как Индия, по крайней мере, в формирующих общественное мнение группах. Он не представлял принципы, которые американцы могли бы обозначить как «прогрессивные» лозунги и пацифистски звучащую нравственность самой крупной в мире демократии. Более того, Индия была намного больше и имела население, превосходящее население Пакистана в четыре-пять раз. Таким образом, существовали весьма трезвые расчеты в отношении преимуществ, которые мы отдавали нашим отношениям с Индией.

Никсон произвел немного изменений в унаследованную им политику на субконтиненте, за исключением принятия более теплого тона в отношении к Пакистану. Мы с ним – как единственные высокопоставленные официальные лица – были глубоко признательны за роль Пакистана в качестве канала связи с Китаем. Это была услуга, за которую руководители Пакистана, к их чести, никогда не требовали никакой взаимности или специального отношения. Единственным конкретным жестом, который сделал Никсон, – и это тоже было в порядке сохранения обещания, сделанного его предшественником, – явилось одобрение летом 1970 года небольшого пакета военного снаряжения для Пакистана. Это должно было стать «одноразовым исключением» в эмбарго на

американские вооружения. В него входили около 20 самолетов и 300 бронетранспортеров, но не было ни танков, ни артиллерии. Пакет был на сумму 40–50 млн долларов (или несколько больше, в зависимости от типа выбранных самолетов). Индия, которая увеличивала свои военные закупки в среднем до 350 млн долларов в год, – почти в 10 раз больше этой суммы, – подняла бурю протеста. В то же самое время Индия обвиняла нас во вмешательстве в ее внутренние дела, потому что некоторые из сотрудников нашего посольства – вероятно, самого многочисленного посольства в нашей дипломатической службе – периодически встречались с оппозиционными лидерами. Это не являлось выполнением спланированной Вашингтоном стратегии, а представляло собой естественную деятельность в стране с наличием свободных институтов; это было странное обвинение для руководителей демократической страны. Но буря вскоре все-таки разразилась.

К 1971 году наши отношения с Индией достигли состояния раздраженно напускной сердечности, подобно супружеской паре, которая и разводиться не желает, и жить вместе не может. Наши отношения с Пакистаном были отмечены сверхъестественной дружбой, у которой было мало конкретного содержания. На субконтиненте, по крайней мере, альянс с Соединенными Штатами не представлялся дающим значительные выгоды по сравнению с неприсоединением.

В начале 1971 года ни один из наших руководящих политических деятелей не думал, что субконтинент попадет в число приоритетов в нашей повестке дня. Казалось, он не требовал никаких немедленных решений, кроме ежегодных программ помощи и усилий по ликвидации последствий трагических естественных бедствий в конце 1970 года. Он оказался идеальной темой для долгосрочных исследований. Я дал указание подготовить три таких документа в конце 1970 года. Два касались советской военно-морской мощи в Индийском океане и вытекающих последствий, третий анализировал нашу долгосрочную политику в отношении Индии и Пакистана, включая цели Советского Союза и коммунистического Китая, и взаимосвязь между ними. Каждое из этих исследований не требовало никакого срочного решения на довольно большую перспективу; не было расчетов и в плане какого-либо серьезного кризиса.

Два циклона

С самого начала своего создания Пакистан стремился к обретению надежной законности. Ни одно правительство после смерти основателя государства не пробыло полный срок на своем посту. Каждая смена власти происходила путем того или иного переворота: военное правительство сменялось гражданским и, наоборот, при доминировании военных. 1970 год, как ожидалось, будет годом конституционного правительства. Выборы должны были в итоге пройти в декабре. Президент Пакистана Яхья Хан нанес визит Никсону в октябре во время празднования 25-летия создания Организации Объединенных Наций, когда Никсон передал ему уже описанное здесь послание для Чжоу Эньлая. Я воспользовался возможностью, чтобы спросить Яхья Хана, что случится с полномочиями президента после выборов. Яхья Хан был предельно откровенным. Он предвидел образование множества партий как в Западном, так и в Восточном Пакистане, которые будут постоянно бороться друг с другом внутри каждой части страны, а также между собственно этими двумя частями. В силу этого президент останется арбитром политики Пакистана.

Перед тем как его предсказание подверглось проверке, разрушительный циклон обрушился на Восточный Пакистан 12–13 ноября. Согласно большинству отчетов, как я написал Никсону, это было крупнейшей катастрофой столетия в плане разрушения собственности и человеческих жертв, как предполагалось, около 200 тысяч человек погибло. Всесторонняя программа по оказанию помощи, которую Никсон приказал осуществить, могла только затронуть внешнюю сторону страданий. Усилия по восстановлению носили хаотичный и неэффективный характер. Оппозиция обвинила правительство Яхья Хана в полной некомпетентности и даже хуже того. Политическая буря, разразившаяся в конце, оказалась даже более разрушительной, чем природная.

То ли циклон выкристаллизовал оппозицию центральному правительству и усилил чувство горести и самоидентичности Восточного Пакистана, то ли сам Яхья Хан неверно оценил повсеместные настроения, но состоявшиеся 6 декабря выборы превратились в плебисцит по вопросу о том, как Яхья Хан справился с кризисом, и оказались катастрофой для военных правителей. «Авами лиг», или Народная лига, боровшаяся за автономию Восточного Пакистана, завоевала 167 из 169 мест, за которые велась борьба на Востоке, получив большинство и в национальной ассамблее, где насчитывалось 313 мест. Ее лидер шейх Муджибур Рахман (известный как Муджиб), в силу этого, неминуемо должен был стать бесспорной фигурой в Восточном Пакистане и иметь мощное влияние во всей стране. Политическая драма обрела свое напряжение, когда сравнительно доминирующие позиции занял в Западном Пакистане Зульфикар Али Бхутто, лидер пакистанской народной партии. Выступая против военного правления,

Бхутто был сторонником сильного центрального правительства и единого Пакистана. Он яростно сопротивлялся настойчивому стремлению Муджиба к автономии Восточного Пакистана, и в этом он мог непременно рассчитывать на поддержку военных. (Действительно, он вполне мог придерживаться этой позиции, чтобы оказаться более приемлемым для военных.) «Авами лиг» выдвинула программу из шести пунктов для достижения полной автономии в качестве провинции для Восточного Пакистана, которая оставляла за центральным правительством некоторые неясные обязанности только в области внешней политики и обороны. Каждая из двух частей Пакистана, согласно этой программе, имела бы свою валюту, отдельные счета для валютного обмена, собирала бы свои налоги и устанавливала бы собственную бюджетно-налоговую политику, а также содержала бы свои милицейские и полувоенные подразделения. Яхья Хан и Бхутто отвергли это как означающее отделение. Патовая ситуация – или кризис – оказалась неизбежной.

16 февраля 1971 года я запросил межведомственное исследование альтернативных вариантов на случай попытки Восточного Пакистана отколоться; 22 февраля я отправил свой анализ президенту:

«[Муджибуру и Бхутто] пока не удалось сделать хотя бы начальные шаги для установления неофициального консенсуса в отношении новой конституции. Президент Яхья Хан остается приверженцем передачи своего военного правительства гражданским политикам, однако он стоит на том, что не намерен возглавить весь этот процесс раскола Пакистана. ...[Муджиб] сейчас планирует продолжать выдвижение своих требований фактической автономии Восточного Пакистана и, если ему это не удастся, – что вполне вероятно, – то он собирается объявить независимость Восточного Пакистана».

Яхья Хан оказался между своим нежеланием объединиться совместно с Бхутто и своим неприятием псевдонезависимости Восточного Пакистана, которой требовал Муджиб. Он отложил созыв национальной ассамблеи, назначенной на начало марта, чтобы дать политическим лидерам больше времени на улаживание своих разногласий, но этот шаг еще больше настроил Восток против. В конце концов Яхья Хан назначил ассамблею на 25 марта, утверждая, что два гражданских антипода, столкнувшись с тупиковой ситуацией, которая могла бы расколоть страну, предпочтут компромисс. И в этом рассуждении, как оказалось, Яхья Хан ошибался. Несомненно, Бхутто был одним из умнейших

людей в пакистанской политике, он также отличался гонором и сильной волей. Позднее Бхутто возглавит восстановление своей расчлененной страны с мастерством и смелостью государственного деятеля. В начале 1971 года он опасался, что компромисс навлечет на него гнев тех самых масс в Западном Пакистане, поддержка которых привела его на порог власти. Муджиб, со своей стороны, уже не мог остановить силы, которые сам выпустил на свободу. Он еще меньше был намерен идти на компромисс, чем Бхутто, и был более расположен верить своей собственной риторике. Подобно персонажам греческой трагедии каждый из этих популярных пакистанских руководителей отказывался позволить другому перейти порог, за которым лежала власть для них обоих; они уступили бы необходимости, но не друг другу.

По мере усиления напряженности наше правительство рассмотрело разные варианты. Старшая группа анализа собралась 6 марта для рассмотрения межведомственного исследования, которое я запросил 16 февраля. Сложилось общее мнение, состоявшее в том, что Пакистан не сможет удержать Восточную часть силой. Я ясно дал понять ведомствам, что президент не захочет вступить в конфронтацию с Яхья Ханом, но что Белый дом не стал бы возражать, если бы были предприняты усилия другими странами отговорить его от применения силы. Если Пакистан расколется, то это должно произойти в результате его внутренней динамики развития, а не американского нажима. Все ведомства согласились с тем, что Соединенным Штатам не следует втягиваться в это дело. Такой же была политика Великобритании, чья история взаимоотношений в регионе была гораздо богаче.

В течение марта мы были свидетелями растерянности, которая предшествует началу большинства кризисов. В важной речи 7 марта Муджиб едва не дошел до полного раскола с Западным Пакистаном, но потребовал прекратить действие военного положения и возвращения к народному правлению, давая ясно понять, что его целью остается «освобождение» Восточной части. Яхья Хан объявил, что вылетает в Дакку, столицу Восточного Пакистана, на переговоры с Муджибом 15 марта. Тем временем в Индии в начале марта премьер-министр Ганди с большим преимуществом победила на индийских всеобщих выборах. До того времени события в Пакистане представляли собой внутренние проблемы дружественного государства; у нас была своя точка зрения, но эти события не были вопросом внешней политики. Будучи занятой избирательной кампанией и событиями, последовавшими сразу после нее, г-жа Ганди проводила политику невмешательства. Вплоть до середины марта постоянный глава индийского министерства иностранных дел Т. Н. Кауль говорил нашему послу в Дели Кеннету Китингу, что Индия хочет, чтобы Пакистан оставался единым. 17 марта

индийский посол в Вашингтоне опытный Л. К. Джха говорил в таком же смысле и мне. Ни один из них не дал понять, что Индия стала бы рассматривать неприятности в соседнем Восточном Пакистане как оказывающие влияние на ее собственные жизненно важные интересы.

Но иногда нервы государственных деятелей сдают. Не будучи в состоянии следовать ходу событий, они пытаются ускорить их и выходят из себя. Так было с Яхья Ханом, который со своей менее чем 40-тысячной армией решил установить военное правление над Восточным Пакистаном с населением в 75 млн человек, подавить «Авами лиг» и арестовать шейха Муджибура Рахмана.

После этого кризис в Пакистане превратился в международный.

### Военное столкновение

Что подтолкнуло Яхья Хана на его необдуманный шаг 25 марта, целиком так и неизвестно. Без сомнения, что бенгальское население насмеялось над пакистанскими солдатами, набранными исключительно из Западного Пакистана. Вариант автономии Муджиба представлялся совершенно неотличимым от независимости. Почти все страны будут бороться за свое единство, даже если в недовольном районе в подавляющем большинстве настроения за отделение. Так было во время нашей Гражданской войны, так было в отношении Нигерии к Биафре или Конго по отношению к Катанге. Пакистан был, однако, уникален в том, что откалывающаяся провинция была отделена от Западного Пакистана тысячами километров индийской территории. Не было никакой вероятности того, что небольшая военная сила, сохраняющая лояльность одной части страны, могла бы навсегда удержать население в 75 млн другой части. Некогда естественная поддержка со стороны бенгальцев единого Пакистана испарилась, целостность Пакистана перестала существовать. Непременно должно было возникнуть независимое бенгальское государство, даже без индийского вмешательства. Вопрос состоял только в том, каким образом должно было это случиться.

Мы не хотели в это вмешиваться, если бы могли, как это сделали англичане. Мы даже получали сообщения о подозрениях западных пакистанцев в том, что якобы могли бы приветствовать независимый Восточный Пакистан, но ни англичане, ни мы не хотели превращаться в козлов отпущения за раскол страны.

У нас почти не было средств для оказания воздействия на ситуацию. Более того, мы были очень заинтересованы в сохранении доброй воли со стороны Пакистана. Он был нашей главной связкой с Пекином; а Пакистан был одним из самых близких союзников Китая. Мы направили послание в декабре через Пакистан, принимая идею относительно направления американского эмиссара в Пекин. В марте и апреле все больше множились признаки того, что китайский ответ вот-вот последует. Апрель был месяцем пинг-понговой дипломатии.

На этой начальной стадии кризиса преобладало общее мнение в правительстве США избегать опрометчивых и поспешных действий, даже в кругах тех, кто ничего не знал о нашей китайской инициативе. На заседании ВГСД 26 марта я повторил собственную точку зрения, что все прогнозы говорят о том, что гражданская война приведет очень и очень быстро к независимости части страны. Представитель Государственного департамента отметил, что Великобритания не желала вмешиваться и оказывать давление на Пакистан. Я сказал моим коллегам: «Я разговаривал с президентом накоротке перед вторым завтраком. Он склоняется к такой же позиции, что и все остальные. Он не хочет ничего предпринимать. Он не хочет оказаться в положении, когда его могли бы обвинить в поощрении раскола Пакистана. Он не расположен к очень активной политике».

И, тем не менее, давление в пользу активной политики стало нарастать. Возникло общее и оправданное негодование, когда в апреле стали появляться сообщения о пакистанских бесчинствах в Бенгалии. Наш генеральный консул в Дакке направлял телеграммы в Вашингтон, настаивая на объявлении открытой американской позиции против пакистанских репрессий. Остальные члены генконсульства подписали аналогичное сообщение в начале апреля. Госсекретарь Роджерс сказал мне, что считает «возмутительным», что его дипломаты пишут петиции, а не отчеты. Однако здесь действовал излюбленный способ подчиненных, старающихся предрешить варианты действий их начальников, когда телеграммам специально давалась разметка по низкой шкале и, соответственно, они получали широкий доступ. Утечки в конгресс и прессу были неизбежны. Пакистанский издатель, посетивший Восточный Пакистан, написал отчет очевидца об убийствах военными в лондонскую «Санди таймс». Наш посол в Дели Кеннет Китинг докладывал в Вашингтон, что он «глубоко потрясен резней» и «серьезно озабочен уязвимостью Соединенных Штатов в связи с наносимыми ущерб их репутации ассоциациями с правлением военного террора». Он настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты срочно открыто и ярко осудили «эти зверства», лично вмешавшись и заявив об этом Яхья Хану, отменив наше «одноразовое исключение», и немедленно прекратили

всякие военные поставки Пакистану.

Мы столкнулись с настоящей дилеммой. Соединенные Штаты не могли закрывать глаза на зверские репрессии со стороны военных, в которых тысячи гражданских были убиты и от которых миллионы убежали в Индию, спасая свои жизни. Не было сомнений в том, что пакистанские военные применяют методы силового воздействия. Но Пакистан был нашим единственным каналом выхода на Китай. Если он будет перекрыт, то понадобятся месяцы для поиска альтернативы. В дополнение ко всему проблема обрушилась на Вашингтон как раз в разгар очередного цикла беспорядков из-за Вьетнама. Массовая кампания неповиновения была запланирована на 1 мая. Для некоторых наших критиков наше молчание по поводу Пакистана, – причины которого мы не могли никак объяснить, – стало еще одним признаком общей моральной бесчувственности правительства. Они и представить себе не могли, что правительство могло разрываться между противоречащими друг другу императивами; кое-кто был очень заинтересован в том, чтобы подорвать позицию своего правительства по первому попавшемуся под руку вопросу в расчете на то, что это подорвет наши усилия во Вьетнаме. Администрация реагировала в таком же мелочном духе; было определенное достоинство в обвинении в моральной бесчувственности. Никсон приказал перевести нашего генерального консула из Дакки; он высмеял Китинга за то, что тот «подпал под влияние индийцев». Трагической жертвой войны во Вьетнаме стала возможность разумных дебатов по вопросам внешней политики.

Государственный департамент стал действовать по собственной инициативе, желая упредить события. Не зная о китайской инициативе, а также находясь под большим влиянием своей проиндийской позиции, Госдепартамент в начале апреля, – не согласовав дело с Белым домом, – пошел на установление нового эмбарго на продажу вооружений Пакистану: он отложил выдачу новых лицензий на продажу боеприпасов и прекратил возобновление лицензий, срок которых истек; приостановил поставку позиций из запасов министерства обороны и подвесил исполнение пакета по «одноразовому исключению» 1970 года. В итоге были прекращены поставки Пакистану вооружений примерно на 35 млн долларов, а реализовано было из поставок только на сумму примерно в 5 млн долларов. (Эти 5 млн стали спорным делом в отношениях с конгрессом в начале июля.) Государственный департамент начал также прикрывать оказание экономической помощи Пакистану, и вновь без согласования с Белым домом, с помощью искусного инструмента, представляющего собой заявление о том, что наши существующие программы не могут быть эффективными по всей стране из-за гражданской войны. Мой эксперт из аппарата СНБ Хал Саундерс написал

мне, что Государственный департамент отходит от позиции беспристрастности и переходит к разрыву с пакистанским правительством, однако «они не признаются сами себе в том, что делают. Они оправдывают свой шаг техническими обоснованиями».

Любой хорошо знакомый с подходами Никсона не мог сомневаться в том, что это противоречит его пожеланиям; а те, кто не знаком с его отношением, должны были бы проконсультироваться с Белым домом. Приоритета президентских прерогатив было достаточно для того, чтобы объяснить подход Никсона (и мой) позже в этом году. На протяжении всего апреля моей главной задачей было взять под свой контроль процессы в правительстве, имея перед собой две цели: сохранить канал связи с Пекином и сохранить возможность политического решения проблемы в Пакистане. К тому времени Исламабад был не только местом контакта, но также и вероятным местом моего отбытия в Китай. Но стали появляться признаки того, что предложенное Индией разрешение несомненного бремени миллионов бенгальских беженцев вело не к тому, чтобы они вернулись, а скорее к усилению разделения Пакистана (или в любом случае одна цель совпадала с другой). 31 марта индийский парламент единогласно выразил искреннюю «симпатию и поддержку» бенгальцам. Не позднее 1 апреля я уже докладывал президенту о том, что «индийцы, как представляется, избрали курс открытых дипломатических действий и скрытых акций, которые усилят уже и без того достигшую высокого уровня напряженность на субконтиненте и которые чреваты риском возникновения более широкого и более серьезного международного кризиса». 14 апреля в Калькутте было создано бангладешское правительство в изгнании. К середине апреля мы получили сообщения о том, что Индия готовит бенгальских беженцев к повстанческой борьбе в Восточном Пакистане (так называемых мукти-бахини). К концу апреля мы узнали, что Индия готова пропустить первые 2 тысячи этих повстанцев в Восточный Пакистан.

Я рассматривал политику сдержанности как правильную по существу, вне какой бы то ни было связи с Китаем. Так или иначе, но стратегия Администрации Никсона по гуманитарным вопросам заключалась в том, чтобы не бросать вызов суверенитету, что, непременно, было бы отвергнуто, а применить все наше влияние без конфронтации со стороны общественности. Оглядываясь назад в прошлое, я полагаю, что мы порой осуществляли этот в основном правильный подход излишне педантично, что настраивало против наших потенциальных сторонников. В случае с Пакистаном это казалось уместным, потому что его правительство было нашим союзником, и он, как мы были убеждены, вскоре должен был узнать тщетность своего курса. Мы решились убедить Яхья Хана пойти на автономию, посоветовав ему, как другу, предпринять шаги, которые он,

несомненно, отверг бы, если бы потребовали предпринять их открыто. Как я написал президенту 29 апреля, центральное правительство «могло бы признать необходимость пойти на предоставление более широкой автономии с тем, чтобы заполучить необходимое сотрудничество со стороны бенгальцев. Мы, как представляется, столкнулись, таким образом, с периодом перехода к более широкой автономии Восточного Пакистана и, вероятно, независимости, в конечном счете». И, тем не менее, как я отмечал, политика Индии намеренно ведется против такого урегулирования: «Готовя и вооружая сравнительно небольшие силы бенгальского сопротивления, Индия может помогать сохранять активное сопротивление на плаву и увеличивать шансы на продолжение партизанской войны. Все свидетельствует о том, что индийцы намерены идти именно таким курсом».

Следуя нашей традиционной процедуре, я попросил Государственный департамент в апреле предложить варианты в процессе подготовки решения президента, какой должна быть наша политика в разворачивающемся кризисе. Широкое политическое решение создало бы определенные рамки для урегулирования вопросов оказания конкретной военной и экономической помощи Пакистану. Это было особенно необходимо в свете того факта, что Госдеп уже стал действовать в выбранном им самим направлении. Как обычно, Госдепартамент разместил предпочитаемый им вариант между настолько абсурдными альтернативами, что они никак не могли служить хоть какой-то базой политики. (Одно предложение, например, включало всемерную поддержку Яхья Хана. Это не отражало ни убеждение Белого дома, ни возможный курс действий.) Я отделил одну рекомендацию из ряда вариантов, предложенных Госдепом. Для того чтобы отреагировать на пожелания конгресса и общественности, я предложил, чтобы президент утвердил несанкционированное действие Государственного департамента начала апреля относительно перекрытия канала поставки вооружений, разрешив отправлять только запасные части и нелетальное оборудование. Я также настоял на том, чтобы экономическая помощь использовалась как пряник для получения политических уступок, «чтобы предпринять серьезные усилия, нацеленные на то, чтобы помочь Яхья Хану прекратить войну и установить такое решение, которое носило бы переходный характер к восточнопакистанской автономии». Никсон одобрил мои рекомендации 2 мая и добавил написанную от руки пометку: «Внимание всем. Не набрасывайтесь все сейчас на Яхья. РН».

Но перед нами возникло сразу три препятствия: политика Индии, наши собственные общественные дебаты и недисциплинированность нашей бюрократии.

18 мая, – когда мы уже довольно далеко продвинулись на стадии подготовки вместе с Исламабадом секретной поездки в Пекин, – г-жа Ганди предупредила Пакистан в открытом выступлении о том, что Индия «в полной мере готова к войне, если ситуации вынудит нас это сделать». Индийские послы предупредили Англию и Францию о том, что Индия «может быть вынуждена действовать во имя своего национального интереса» из-за потока беженцев, число которых на то время оценивалось в 2,8 млн человек [18 - «Вашингтон стар», 19 мая 1971 года.]. Проблема беженцев была действительно громадной; опасность межобщинных столкновений невозможно было отрицать. Но проходили недели, и мы все больше стали подозревать, что г-жа Ганди наметила для себя более крупные возможности. По мере нарастания изоляции Пакистана в международном плане она, как представляется, больше всего стремилась добиться унижения Пакистана, вероятно, пытаясь распространить центробежные тенденции с Восточного на Западный Пакистан. Когда Соединенные Штаты согласились взять на себя большую часть расходов на оказание помощи беженцам, Индия стала тут же настаивать на том, что проблема беженцев неразрешима без политического урегулирования. Но условия Индии для такого урегулирования расширялись с каждой неделей. Когда Соединенные Штаты предложили смягчить голод в Восточном Пакистане, Индия – вместе со многими людьми в самих Соединенных Штатах – потребовала, чтобы программа оказания помощи беженцам осуществлялась международным агентством. Предлогом для такого заявления была якобы забота о справедливом распределении, но таким образом были бы созданы помехи для завоевания пакистанским правительством кредита доверия среди собственного населения.

В мае 1971 года мы узнали из доселе считавшихся достоверными источников о том, что г-жа Ганди заказала планы на молниеносные удары «израильского типа» по Восточному Пакистану. И у нас были неоспоримые свидетельства того, что Индия распределяет самолеты и перебрасывает боевые подразделения и бронетехнику к границам. Никсон отнесся к сообщениям со всей серьезностью и 23 мая приказал, что, если Индия начнет такого рода атаку, экономическая помощь США Индии будет прекращена. Я собрал заседание ВГСД 26 мая для рассмотрения политики на случай войны. Примерно в это же время мы узнали о том, что индийские военные руководители посчитали предложенный г-жой Ганди удар по Восточному Пакистану слишком рискованным. Они опасались китайского вмешательства, военной помощи Пакистану со стороны других стран (особенно со стороны Ирана), неопределенности с возобновлением поставок советского оружия и вероятности того, что весь Пакистан, вероятно, должен быть оккупирован для того, чтобы довести войну до завершения. Индийские

военачальники настаивали на том, чтобы, самое меньшее, выждать до ноября, когда погода в Гималаях затруднила бы китайское вмешательство.

Пока г-жа Ганди действовала систематически с тем, чтобы устранить эти возражения, и ждала выпадения снега в горах, у нас наступила хоть какая-то передышка. (Я должен подчеркнуть, что многие в правительстве Соединенных Штатов не доверяли этим сообщениям, в отличие от меня; многие высокопоставленные официальные лица рассматривали индийский удар как невозможный.) Мы использовали этот перерыв прежде всего для того, чтобы активизировать помощь беженцам; изначально выделенные весной 2,5 млн долларов в итоге увеличились в десятки раз до 250 млн долларов. В то же самое время мы настояли на том, чтобы Пакистан предпринял шаги по политическому урегулированию, требуя, чтобы Яхья Хан вначале интернационализировал усилия по оказанию помощи в Восточном Пакистане, а затем выдвинул политическое предложение. И мы рекомендовали сменить военного губернатора в Восточном Пакистане на гражданское лицо; нам удалось обеспечить общую амнистию, которая распространялась на все лица, еще не обвиненные в конкретном уголовном преступлении.

28 мая Никсон направил письма г-же Ганди и Яхья Хану с изложением нашей политики. Письмо Яхья Хану не было таким уж сильным; оно отражало нашу потребность в Яхья как в канале связи с Пекином. Но не оставляло сомнений в том, что мы ратовали за политическое, а не военное решение проблемы Восточного Пакистана. Никсон признал готовность Яхья Хана признать интернационализацию оказания помощи беженцам. Он поддержал Яхья в том, чтобы тот продолжил курс «политического урегулирования»: «Я также заметил с удовлетворением Ваше публичное заявление об амнистии беженцев и приверженности передачи власти избранным представителям. Я уверен, что Вы претворите эти заявления в жизнь». Никсон призвал к сдержанности в отношениях Пакистана с Индией; он считал «абсолютно жизненно необходимым» восстановить условия в Восточном Пакистане, что «смогло бы привести к возвращению беженцев с индийской территории, как можно быстрее».

Параллельное письмо президента г-же Ганди от 28 мая подчеркивало наше желание уменьшить поток беженцев в Индию и помочь облегчить павшее на Индию бремя путем оказания финансовой и технической помощи. Никсон информировал ее о наших усилиях оказать воздействие на Яхья Хана:

«Мы предпочли работать преимущественно посредством тихой дипломатии, как мы проинформировали Вашего посла и министра иностранных дел. Мы обсуждали с правительством Пакистана важность достижения мирного политического урегулирования и восстановления условий, при которых поток беженцев прекратился бы, а сами беженцы могли бы вернуться в свои дома. Я полагаю, что такой подход подразумевался, во всяком случае, в какой-то мере, во время пресс-конференции президента Яхья 24 мая и особенно в его открытом принятии международной помощи, предложении об амнистии всем беженцам и обязательстве передать власть избранным представителям».

Никсон похвалил Индию за жизнеспособность ее демократии и за ее социально-экономический прогресс, а также добавил скрытое предупреждение по поводу применения военного решения вопроса: «Друзья Индии были бы разочарованы, если бы этот прогресс был прерван войной». 3 июня я объяснил нашу стратегию Кеннету Китингу. Я был убежден в том, что Восточный Пакистан, в конце концов, станет независимым. Наша политика состояла в том, чтобы «дать возможность фактам самоутвердиться».

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

1

Официальное предложение о замораживании создания наступательных вооружений, разумеется, должно было затрагивать обе стороны. Но поскольку у нас не было новых развертываний, которые мы могли бы предпринять в пятилетний период, мы фактически говорили о советском замораживании.

2

9 января не было никакого письма президента Брежневу или встречи президента с Добрыниным, как предполагается в некоторых материалах. Была только моя инициатива, – одобренная президентом, – по президентскому каналу с Добрыниным. (Первый контакт между Никсоном и Брежневым имел место в августе 1971 года.)

3

Н-р, РН: Мемуары Ричарда Никсона. С. 523. См. также Маркиз Чайлдс, «Вашингтон пост» 1 июня 1971 года.

4

«США раскололись в вопросе о расходах на оборону – так Маски сказал советскому премьеру». «Вашингтон стар», 26 января 1971 года.

5

«Сенатская комиссия должна быть проинформирована о прогрессе на переговорах по разоружению». «Вашингтон стар», 2 февраля 1971 года.

6

Советские ракеты Р-36, по классификации НАТО, СС-9 «Скарп» («Крутой обрыв»), Р-36М, в западной классификации СС-18 «Сатан» («Сатана»), и ракетный комплекс УР-100 (в западной классификации СС-11 «СЕГО»). – Прим. перев.

7

«Глава делегации США на переговорах дает показания по вопросу об ограничении ПРО». «Вашингтон пост», 4 февраля 1971 года; «Фостер требует полного запрета на испытания ПРО». «Вашингтон пост», 28 февраля 1971 года.

8

«Юнайтед пресс интернешнл», 4 мая 1971 года.

9

Такая нота называется вербальной (от латинского *verbalis* – устно), она не имеет личной подписи и составляется в третьем лице. – Прим. перев.

10

«Сенат возобновляет дебаты по вопросу о ПРО». «Нью-Йорк таймс», 20 апреля 1971 года.

11

Некоторые эксперты по контролю над вооружениями в научных кругах (см. сноску ниже) продолжали считать, что президент принял советское

предложение; они хвалили Никсона за согласие с заключением одного только соглашения по ПРО, когда он делал совершенно противоположное.

12

«Эксперты по контролю над вооружениями из Гарварда и Массачусетского технологического института довольны шагом Никсона на переговорах». «Нью-Йорк таймс», 27 мая 1971 года.

13

Я сознаю, что описываю сложные многосторонние переговоры с позиции единственного участника, что, вероятно, не дает полного представления. Я не знаю, какие двусторонние контакты проходили между другими участниками, вклад которых, возможно, равнялся или превосходил то, что я здесь описываю. К примеру, когда Жан Сованарг, французский представитель на этих переговорах, стал моим коллегой и другом в качестве министра иностранных дел, он несколько раз ссылаясь на главный вклад, который он внес, а Сованарг не склонен к хвастовству, но для меня остаются загадкой его комментарии. Я не стал вдаваться в разъяснения, так как не был готов отвечать взаимностью. Вполне вероятно, что имели место и другие контакты с советскими представителями. Нам надо подождать мемуары других участников.

14

Бенгалия была расколота разделом 1947 года. Восточная ее часть стала Восточным Пакистаном; Западная Бенгалия оставалась частью Индии.

15

СЕАТО включала Соединенные Штаты Америки, Великобританию, Францию, Австралию, Новую Зеландию, Пакистан, Филиппины, Таиланд (и Южный Вьетнам в качестве члена по дополнительному протоколу). СЕНТО включала страны так называемого «северного яруса обороны» – Турцию, Иран и Пакистан, а также Великобританию; Соединенные Штаты были членом организации лишь номинально.

16

Киссинджер Г. (Киссинджер Г.) Ядерное оружие и внешняя политика. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. – 511 с. – Прим. перев.

17

Речь шла о движении за отделение этого пограничного района от Пакистана и присоединении его к народу, говорящему на схожем по названию языке на афганской стороне Хайберского перевала.

18

«Вашингтон стар», 19 мая 1971 года.

----

Купить: [https://tellnovel.com/ru/kissindzher\\_genri/gody-v-belom-dome-tom-2](https://tellnovel.com/ru/kissindzher_genri/gody-v-belom-dome-tom-2)

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)